Ной Рудой



Фото 1942 года.

Порожняк

1

Передний край — то близкий, то далекий,
Передний край. Едва ли кто забыл
Повязок окровавленных потоки
У раненых, которых надо — в тыл.
Но у меня была одна машина,
Всего одна. На марше и в бою.
Шутили в штабе: «Хнычет медицина!»
А командир сказал: «Возьмешь мою.
Но если удержаться не сумеем...»
И комполка распорядился так:
«Снаряды подвезете к батареям,
А доктору дадите порожняк...»
Я врач и на войне видал немало.
Но ад земной познал наверняка,
Когда бойцам снарядов не хватало
И не хватало мне порожняка.

2

Порожняя машина мчится в тыл.
Прорвались танки. Близок неприятель.
«Стой! — я кричу водителю.— Забыл!!
Забыл приказ о раненых, предатель!»
Он, ошалев, летит в тартарары,
И с грохотом проносится трехтонка,
И, вырвав пистолет из кобуры,
Я всю обойму шлю ему вдогонку.
Никто с меня погоны не сорвал
И не пытался пристрелить на месте.
Есть на войне военный трибунал,
Но есть и суд прямой солдатской чести.
И круто развернулся грузовик,
Стон раненых страшнее, чем расплата,
И раненых мы погрузили вмиг
И мигом довезли до медсанбата.
Мне кажется, я вижу и сейчас
Изрытую воронками дорогу...
По своему стрелял я только раз,
Стрелял — и промахнулся, слава богу.

Дорога

После ночей бессонных и атак
Мы погрузились в длинный товарняк,
И с Брянского на Первый Прибалтийский
Отправили наш полк артиллерийский.

Неужто повезут через Москву!
Возможно ли такое наяву!
«Вот старшина,— шутили,— знал заранее,
Что батарею ждут в московской бане!»
«А, может, к теще на блины сперва!»
Но в полночь слышу возгласы: «Москва!»
И через миг в двери — лицо комбата:
«Оденься, доктор, на дворе мороз.
Накинь шинель. Да так — поверх халата.
Бежим, вона меняют паровоз!»

Помчались. Спотыкаемся о шпалы.
Вот станция. «А кто здесь комендант!»
«Ну я».— И смотрит грустно и устало
Седая. В полушубке. Лейтенант.
«Ах ты!!» — И, пистолетом угрожая,
Комбат кричит (он был в боях горяч):
«Не торопи нас, крыса тыловая,
Санобработку требует наш врач!»
А женщина — она в словах комбата
Не слыша ни упрека, ни угроз —
Спокойно говорит и виновато:
«Не опоздайте, подан паровоз».

Москву тогда мы так и не видали,
Нас повезли дорогой окружной.
Но женщину забуду я едва ли,
Она осталась в памяти — Москвой.
Умыть нас, обогреть по-матерински,
Как и Москве, хотелось ей до слез.
Но шла война. И ждал нас Прибалтийский.
«Не опоздайте, подан паровоз».

✪

В коридоре больничном кислородный
баллон,—
Почему-то снарядом показался мне он.
Может, сумерки этому были виной,
Может, память, что вдруг овладела душой.
Я хотел бы забыть смертоносный металл,
Что с шипеньем не раз надо мной пролетал,
Но вот этот наполненный жизнью баллон
Воскрешает виденья военных времен...
Сколько вроде бы схожих на свете вещей,
Разделенных, как пропастью, сутью своей.

Тиф

Слова «Окончена война»
Казались просто мифом:
Со всех сторон подожжена
Была деревня тифом.

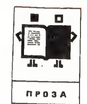
Он был прожорлив и хитер.
В жестокой схватке боя
Уже свалил он двух сестер;
В бою осталось двое.

Вытаскивая из грязи
Натруженные ноги,
Я думал: в городе, вблизи,
Забыли о подмоге.

Но мне прислали фельдшеров —
Фронтовиков недавних,
Ни громких фраз, ни лишних слов,—
Еще война жила в них.

И оставался мир для них
Мечтою сокровенной...
Гудел над Родиною вихрь
Войны послевоенной.







Галина
МАРКОВА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

ДЕВЧОНКИ НА ВОЙНЕ

1

Утром, после ночной метели, выглянуло солнце.

Синими искрами сверкает снег, скрипит под полозьями широкой волокуши. Старенький трактор, пофыркивая, тянет волокушу по заметенной снегом дороге. Тесно прижавшись, мы сидим на промороженных бревнах, свесив ноги по краям. Мороз пробирается за воротники меховых комбинезонов, под низко надвинутые ушанки. Время от времени кто-нибудь из девушек соскакивает с волокуши и, проваливаясь в глубоком снегу, бежит рядом. Потом со смехом падает на сидящих позади.

— Ну, разошлись...— ворчит командир второй эскадрильи Женя Тимофеева.— Как телята.

— Не ворчи, Евгения Дмитриевна, настроение хорошее,— пряча улыбку за поднятым воротником, говорит женщина, сидящая рядом с Женей.

— Да ведь, товарищ майор, никакой серьезности нет. Вроде бы и не знают: куда летим, зачем...

— Это ты напрасно. Девчонки еще. Поэтому и смешит любая пустяковина. Вспомни себя в их возрасте.— Майор Раскова искоса взглянула на смеющихся девушек.

Разрезая морозный воздух, низко над полем проносится тройка «ишачков» — истребителей И-16. Коротенькие, словно чурбачки, истребители резко взмывают вверх и, развернувшись, снова идут над нами. Запрокинув головы, мы дружно машем руками. Наверно, это улетают на фронт те ребята, что сидели вчера в столовой. На груди у них блестели ордена, лица почернели от мороза и солнца. Мы смотрели на них с уважением и скрытой завистью: они уже побывали в боях, а мы снова должны перелетать куда-то на другой фронт.

Завтра командир полка майор Раскова летит в Москву за назначением, а пока... мы едем на тракторе в баню. Некоторое время еще слышен гул моторов, потом и он пропадет. Только скрипит снег под полозьями да тарахтит трактор. Смолк веселый

Рисунок
Ю. ЦИШЕВСКОГО.

смех. Все мы были там, за темной зубчатой полоской горизонта, где скрылись самолеты.

— Хорошая машина...— прерывает молчание кто-то.— Истребители... Одно слово-то какое.

— Вам бы только фр-р, фр-р...— сердито говорит Женя.— Подумаешь, истребители! У нас что, машина хуже? Лучшая из всех! — Встретившись взглядом со мной, Женя спрашивает: — Ты, небось, тоже в истребители подалась бы?

Я пожимаю плечами:

— Нет, наверно. Не подалась бы.

— Ну, то-то же,— примирительно говорит Женя.— Давай-ка завяжу ушанку, щеки обморозишь.

Она поднимает рукой мой подбородок и крепко завязывает тесемки. Я вижу ее лицо с темными пятнами на промороженных в полете щеках, круглые, как говорит сама Женя, «кошачьи» глаза, теплую усмешку во взгляде, прямой, чуть приплюснутый нос. Чувствую, как мягкие, теплые руки касаются моего лица. Ее никак нельзя назвать красавицей, но есть в ней что-то, что заставляет всех — от рядового моториста до работников штаба — искать ее уважения. Женино лицо всегда строго, редкая похвала скупа, но иногда в ее отношении к рядовым летчикам вдруг сквозит материнская нежность и забота, от которой тепло на сердце.

— Ну вот, теперь ладно,— натягивая перчатки, говорит Женя.— За вами только смотри да смотри. И куда только с такими заморышами на фронт...

Волокуша ныряет в сугробы, заваливается набок на крутых поворотах, и кажется, нет конца и края сверкающей тишине. За очередным изгибом дороги мы неожиданно замечаем темные крыши утонувшей в снегу деревни. Белая улица пустынна, только у рубленой избы, что стоит в конце улицы, виднеется группа женщин. Когда сани подъезжают поближе, одна из женщин — в теплой клетчатой шали — подбегает к нам.

— Девоньки,—голос у нее высокий и певучий,— которая тут из вас Раскова?

Мы переглядываемся в замешательстве.

— А зачем она вам?— соскакивая с саней, спрашивает Женя.

— Да уж больно хотелось нам увидеть ее да поговорить,— запахивая концы шали на груди и оглядываясь на других женщин, словно ища поддержки, отвечает она.— Деревня у нас глухая, а тут слышим: вроде бы она с вами. Вот,— женщина вытаскивает из рукава вырезанный из журнала портрет Расковой,— только по снимку и знаем.

Марина Михайловна, стоя в группе летчиц, ничем не выдает своего присутствия. Только глаза ее — серые, лукавые — весело блестят из-под спущенной на лоб ушанки.

— Да вот она,— подталкивает Раскова Женю.— Вот вам Раскова.

— Полно вам, товарищ командир! Ну какая я Раскова! — Женя громко смеется.— Уж тогда вот она! — И выталкивает из толпы меня.

— Да молода больно эта-то...— откликается на шутку женщина.— Раскова будто постарше будет.

Марина Михайловна, отогнув воротник комбинезона и сняв перчатку, протягивает руку.

— Будем знакомиться: Раскова.

— Наши-то бабы со всей деревни сегодня в школу придут,— говорит одна из женщин.— Уж вы расскажите нам про ваш полет да о подружках своих.

— Обязательно расскажу,— обещает Раскова.— Обязательно.

...В широком окне, единственном на длинной дощатой стене комнаты видна ослепительно белая огромная луна с желтым ореолом вокруг, и чудится, что это не окно, а полотно картины с неподвижным белым шаром, перечеркнутым темным силуэтом ветки, облепленной снегом. Вечерние сумерки незаметно заполняют комнату, только вокруг широкой печи колышется пятно света, отбрасываемого из раскрытой дверцы.

Вокруг печи деревянные двухэтажные нары поставлены так, что образуют круг, и посредине остается немного свободного места. По вечерам здесь у нас что-то вроде кают-компании, где обсуждаются дневные дела, ведутся споры, читаются стихи.

В дальнем, темном углу комнаты слышен шорох патефонной иглы, скользящей по старой заигранной пластинке.

...На земле весь род людской...

— Ха-ха-ха! — вторит голосу певца высокая девушка с коротким ежиком волос на голове, кружась между нарами с сапогом в руках. Потом она неожиданно останавливается, зажмурив узко прорезанные глаза, приняв позу невозмутимого Будды. Это Саня Вотинцева, штурман нашей эскадрильи, затейница и «местный» поэт. Свободное время ее уходит на перешивание армейских вещей: шинели, гимнастерки, кобуры для пистолета. Теперь она принялась за свои сапоги, придает им «форму и изящество», как она говорит.

— Вотинцева! — слышен голос Жени.— Угомонись! — Вместе с Расковой она сидит у печи на кучке поленьев, сжав лицо руками.

— Не горюй,— говорит Раскова.— Вот буду в Москве, попробую узнать, что с твоими ребятами.

Женя молча кивает головой. Летом, когда полк был еще на переучивании, командир дала ей короткий отпуск, и она была в Минеральных Водах, где оставались ее дети. Но Женя уже не застала их. Город эвакуировался, куда-то отправили и ее ребятишек вместе со старенькой бабушкой. Так и прилетела Женя обратно в полк, ничего не узнав о них.

Раскова понимает тревогу Жени: у нее самой в Москве осталась дочка. Но она знает, где ее Таня, у Жени нет даже этого утешения. Днем, в суматохе занятий, командирских дел, полетов, тревога Жени стихала, уходила на второй план. Но в такие вот вечерние минуты, когда дневные эскадрильские заботы остаются позади, она уже не может думать ни о чем другом. Сыну нет еще и двух лет, дочке пошел четвертый год... Где они? Здоровы ли?

— Вот тут они у меня...— Женя обхватывает себя за плечи.— На подготовке, в полете ли — я все время чувствую на себе их руки, они все время со мной. Никуда мне от них не уйти.

Женя грустно вздыхает, поправляя соскользнувшую меховую безрукавку.

— Не помешаю?

Комиссар полка Елисеева садится рядом с Женей и кладет руку на плечо. «Матушка» — ласково называют ее в полку, и, пожалуй, трудно найти другое слово, так точно характеризующее облик и характер комиссара. Мягкостью и добротой наполнены каждый ее жест и каждое слово, ее легко можно разжалобить, и часто она потакает нашим мелким слабостям. Но перед строем полка или на собраниях, когда ей приходится выступать, ее голос звучит твердо и решительно.

— Ты никогда не помешаешь, Лина Яковлевна. Садись, посумерничаем.

Елисеева молча поглаживает Женю по плечу, потом говорит:

— Хочу попросить вас, товарищ командир, вот о чем: сегодня в школе вы рассказывали деревенским женщинам о перелете. Я думаю, что и нашим девушкам полезно будет послушать вас. Когда еще выдастся такой свободный час!

— Да они и так все знают,— пытается отказаться Раскова.— Летчики ведь.

— Нет, нет,— настаивает комиссар,— то все официальные сообщения, а вы расскажите подробнее. Им все мелочи интересны и полезны.

— Вижу, что у меня сегодня будет день воспоминаний,— смеется Марина Михайловна.— Ничего не поделаешь, раз комиссар настаивает, придется подчиниться.

По знаку комиссара девушки собираются в кружок вокруг печки. Кое-кто забирается на верхний ярус нар: отсюда, в мерцающих бликах огня, хорошо видны лицо командира, головы девушек, склонившихся к ней,— темные, светлые.

...Я слышу негромкий голос нашего командира и вижу бескрайний простор хмурого осеннего неба, затерявшийся между облаками обледеневший самолет. Вижу, как летчики Валентина Гризодубова и Полина Осипенко, сменяя друг друга, вот уже много часов ведут самолет все дальше на восток. Только штурман — наш сегодняшний командир — несет бессменную вахту. Давно уже нет связи с землей: где-то на середине пути, за Красноярском, самолетная радиостанция вышла из строя, и штурману приходится контролировать маршрут только по компасу и часам.

Они летели «вслепую», не зная ни погоды по маршруту, ни точного местонахождения. Толстые, холодные облака не выпускали самолет из плена. Лишь к ночи смогли пробить облачность на высоте около шести тысяч метров. Звезды таинственно и враждебно мерцали в матово-черной глубине неба. Постепенно исчезла корка льда на крыльях — термометр за бортом показывал минус тридцать восемь...

Высунувшись в верхний люк, Раскова пыталась запеленговать хотя бы пару звезд, чтобы уточнить ориентировку, но то, что она делала раньше быстро и четко, сейчас давалось с большим трудом: в жгучем морозном потоке воздуха руки ее в тонких шерстяных перчатках застыли через несколько секунд. Негнущимися пальцами работала она с секстантом, устанавливая уровень и производя отсчет азимута звезд, на глаза ей набегали слезы и мгновенно примерзали к щекам. Время от времени она засовывала пальцы в рот и отогревала их своим дыханием, с отчаянием и враждою глядя на ускользающий блеск звезд.

Наконец, закончив отсчет, она спустилась вниз и задвинула люк. Некоторое время сидела сжавшись, засунув под мышки заледеневшие руки, не слыша голоса командира, что-то сообщавшей ей по переговорочному устройству. Когда унялась противная, холодная дрожь и руки стали снова послушными, она принялась за расчеты. Выходило, что самолет уклонился далеко влево от намеченного маршрута, и теперь появилась новая опасность, более грозная, чем обледенение: горючее могло кончиться раньше, чем они прилетят к месту посадки— Комсомольску-на-Амуре.

Разложив на полу кабины полетную карту, Раскова при свете тусклой бортовой лампочки проложила истинный курс и дала команду изменить маршрут полета. На рассвете они пошли вниз. Под ними серело свинцовое Охотское море. Белые гребни волн плясали внизу под самолетом на пустынном пространстве. Облачность заволакивала изломанный, скалистый берег, где не было видно ни дымка, ни признаков жилья. Только море беззвучно, как в немом кино, бросалось на скалы.

Они взяли курс на Комсомольск. Появилась надежда, что при попутном ветре, который сейчас дул с востока, самолет долетит к месту посадки. Море уже осталось далеко позади, самолет шел на высоте чуть больше тысячи метров, проплывали внизу падь за падью, раскрашенные грустными осенними красками. Неожиданно на щитке приборов замигала красная лампочка: горючее кончалось. Надо садиться...

Где? Как? Внизу, на многие сотни километров расстилалась тайга. Нельзя было медлить, надо искать место для посадки, пока еще работают моторы. Позже, в спешке, это сделать будет значительно труднее. Командир корабля Валентина Гризодубова решила садиться на болото, которое она заметила в распадке между двумя сопками. Но при такой посадке в первую очередь опасность грозила штурману — ее кабина была в носу самолета, и, чтобы исключить эту опасность, командир приказала Расковой покинуть самолет, выброситься с парашютом...

— Я бы не прыгнула...— слышится шепот Клары Дубковой — штурмана и моей подружки.— Ни за что.— Она широко открытыми светлыми глазами, почти не мигая, смотрит на рассказчицу.

— Прыгнешь, когда командир прикажет,— тихонько отвечаю я. Раскова поднимает голову и встречается взглядом с Кларой.

— Кое-кто, я знаю, не очень-то любит прыгать с парашютом. А ведь в бою это может оказаться единственным шансом, последней возможностью спасти жизнь. Надо будет нам провести тренировки. Как думаешь, комиссар?

— Да, конечно. Только боюсь, что времени у нас не будет,— отзывается Матушка.

— А дальше, Марина Михайловна, что было? — спрашивает Женя.

— Дальше? — Раскова на минуту задумывается.— Затянула потуже ремень да и нырнула в нижний люк.

Раскова щурится от вспыхнувшего в печке пламени, и в глазах ее блестит усмешка.

— Думаешь, с охотой прыгала? Не очень... Так не хотелось покидать самолет, а надо было.

...Сумрачная, осенняя тайга наплывала снизу. Парашют раскачивался, словно гигантские качели. Когда он раскрывался, ее здорово рвануло кверху, так что в своем меховом комбинезоне она застряла на подвесных ремнях и никак не могла подтянуться и сесть, как положено при прыжке. Так и летела вниз с вытянутыми ногами, почти стоя.

Слева, мимо нее, прошел со снижением самолет. С высоты ей был виден тот распадок, где собиралась приземлиться Гризодубова. Но потом порыв ветра понес парашют, распадок скрылся за спиной, и Раскова приготовилась к приземлению.

С треском ломались тонкие ветви под тяжестью парашюта, стропы захлестнулись на острой вершине дерева, осыпавшаяся хвоя колким дождем падала на лицо. Раскова повисла боком, метрах в двух от земли, с трудом расстегнула замки парашюта и упала вниз. Земля еще покачивалась под ней, и обнаженные, будто обгорелые вершины лиственниц плыли перед глазами. Она села на мягкий бугорок хвои, растирая ушибленную при прыжке ногу. Меховые унты слетели с ног в воздухе, остались только тонкие носки из козьего меха. Подтянула их повыше и стала завязывать тесемки.

Вокруг стояла непостижимая тишина. Временами слышался только шелест парашюта, раздуваемого

ветром, как парус. Последние минуты в самолете, прыжок, приземление не давали ей времени ни на какие размышления. И даже сейчас, сидя под лиственницей, с которой все еще неслышно падали хрупкие иглы, Раскова чувствовала лишь неимоверную усталость. После более чем суточного полета, тревог, после изнуряющего холода, донимавшего все эти часы, ей хотелось сейчас закрыть глаза и уснуть. Она с трудом заставила себя подняться. «Надо идти... Надо искать самолет, может быть, там нужна моя помощь».

Мы слушаем рассказ командира затаив дыхание. Сверху рядом с четким профилем Расковой я вижу лицо Жени. Она то хмурится, то нервно потирает руки, то вдруг замирает неподвижно, словно вслушиваясь в каждое слово командира. На лице ее попеременно отражаются тревога и удивление. Изредка, словно про себя, она протяжно произносит: «Ах-ха-ха»,— и оглядывает строгими глазами сидящих вокруг.

Перед тем, как тронуться в путь, Раскова проверила пистолет и переложила его из кобуры в грудной карман. Пошарила в других карманах, но, кроме надломленной плитки шоколада, больше ничего не нашла. Аварийный запас еды и одежды остался на борту самолета... «Не беда,— подумала она,— воды тут много, а к месту посадки доберусь скоро».

Ей казалось, что сто́ит подняться на сопку, у подножия которой она приземлилась, как она сразу увидит самолет. Но когда сквозь сцепленные кусты, перепутанные высокой травой, выбралась на вершину, перед ней открылась бескрайняя тайга — с голыми лиственницами, обвитыми пламенеющими листьями дикого винограда, с зелеными конусами хмурых елей, тайга, то сбегающая вниз по распадкам, то пестрыми пятнами взбирающаяся к вершинам дальних и ближних сопок. Низкие облака почти недвижимо висели над головой.

Она оглянулась вокруг. Вдали, насколько хватал глаз, не было заметно ничего, что выдавало бы присутствие приземлившегося самолета: сломанных деревьев, белых полос крыльев машины... Серая тишина лежала под ногами.

Ей стало страшно от этой тишины и нахлынувшего вдруг чувства одиночества. Она выхватила пистолет и выстрелила. Сухой щелчок негромким эхом прозвучал над тайгой, потом все смолкло. Хотела выстрелить еще раз, но спохватилась: надо поберечь патроны. У нее было две обоймы — шестнадцать штук. Теперь осталось пятнадцать... Их самолет с экипажем будут искать и, конечно, найдут всех. Но сколько придется ей блуждать по тайге? Она еще раз оглянулась. Если нет самолета в этой пади, то, наверно, они сели неподалеку, нужно только держаться направления в ту сторону, где она последний раз видела самолет. Слева, на дальней сопке, она заметила сосну с раздвоенной вершиной и решила идти напрямик. Уже через несколько минут ей стало жарко: поваленные деревья, заросли дикой красной смородины, высокая, по грудь, трава преграждали ей путь. Тонкие меховые носки быстро стали мокрыми, скользили по прогнившим листьям, ноги в них ощущали каждый сучок, каждый камешек.

Спустившись вниз, она вышла к небольшой речке, петлявшей среди тальника и огромных лопухов. Прошла немного вдоль берега, увидела узкую полоску галечной отмели. Пока она пила, прильнув губами к студеной воде, от которой ломило зубы, пятнистая рыбка с любопытством уставилась на ее руку. «Форель, наверно...» — машинально подумала Раскова.

С этого места сосна с раздвоенной вершиной была хорошо видна, и она пошла дальше, вверх по течению. Скоро речка затерялась в топких, болотистых берегах, и, с трудом перепрыгивая с кочки на кочку, Раскова перебралась через болото и начала подниматься. Идти здесь было легче, но когда она взобралась на сопку, то почувствовала, что силы совсем покидают ее: голова противно кружилась, колени подгибались от слабости.

Но и отсюда, как она ни всматривалась в таежные дали, следов приземлившегося самолета не было заметно.

Прежде чем продолжить путь, Раскова решила отдохнуть. Здесь, на вершине, ей было видно далеко вокруг, и если самолет где-то недалеко, то она сможет заметить его место по дыму костра или вспыхнувшей в небе ракете. А пока ей надо хоть час поспать: шли уже вторые бессонные сутки... Она сняла промокшие «унтята» и положила их рядом с собой. Сунула обе ноги в одну штанину комбинезона и подвернула конец, вытащила плитку шоколада и, разделив на дольки, съела только одну. «Каждый день я буду съедать только по одной дольке,— решила она,— и мне хватит на неделю». Спрятав руку в карман, где лежал пистолет, и подняв воротник комбинезона, она уснула. После съеденного шоколада снова захотелось пить, но опять пробираться к реке не было сил.

Уже темнело, когда она открыла глаза. Тучи еще ниже повисли над головой, но теперь они неслись, путаясь и обгоняя друг друга. Вверху, покачиваясь, глухо шумела сосна. К ночи идти не было смысла, поэтому она спустилась к реке, напилась, собрала пригоршню смородины с куста и снова поднялась наверх, решив, что лучше переждать ночь здесь.

Суковатую палку, поднятую по дороге, она положила рядом с собой, села, прислонившись спиной к дереву, вытащила руки из рукавов комбинезона, подвернула рукава за спину, и получился неплохой спальный мешок. «Сколько я смогу продержаться? Без огня, без еды? — думалось ей.— Хорошо, что еще не так холодно. Но со дня на день может пойти и снег, конец сентября все-таки... Нас, конечно, уже ищут, уже прошел целый день... Ах, как нескладно все вышло... Почему не хватило горючего? Может быть, и не долили после пробы моторов? А Валя и Полина? Живы ли, посадили ли самолет?» Эти мысли все время кружились у нее в голове. Обиднее всего было то, что весь маршрут они пролетели благополучно, установили рекорд на дальность полета, и вот когда, казалось, все уже позади, не хватило бензина, чтобы сесть в Комсомольске.

Невдалеке треснула сухая ветка, что-то прошуршало по кустам. Она съежилась, сжимая в руке пистолет. Ей послышалось тихое пофыркивание, потом все смолкло. В темноте вдруг ожили звуки, которых она не замечала днем: шелест тайги, протяжный свист ночной птицы, осторожный шорох травы.

— Ужа-ас...— шепчет Клара.— Я бы умерла со страха.

— Страшно было, Марина Михайловна? — спрашивает Женя.

— Не очень-то весело... На третий день, когда я перебиралась не помню уж через какое по счету болото, я провалилась и выбралась, но в болоте остался меховой носок. Пришлось вместо него натягивать на ногу шерстяную перчатку. Обмотала травой, да так и шла... Через неделю я съела последний кусочек шоколада. Все шла и шла, старалась держаться открытых мест, чтобы меня можно было заметить с воздуха. Иногда мне казалось, что где-то за

облаками пролетал самолет, я стреляла, но патроны кончались, надо было беречь их.

— Мы очень волновались за вас,— говорит Женя.— Осипенко и Гризодубову нашли быстро, а вас все нет и нет... Каждый день только и спрашивали: не нашли еще? Зато потом, когда вас разыскали...

— Я увидела самолет на девятый день. Сначала я не поверила своим глазам, но он сделал круг, потом развернулся и опять прошел надо мной, показывая направление, куда я должна идти. Так я вышла к месту посадки самолета «Родина», где меня ждали Полина и Валя.

— Я помню, как вас всех встречали в Москве. Ведь ваш экипаж прославился на весь мир.

— Да, слава... Помнишь, как у Виктора Гусева:

...и голуби, голуби, голуби
аплодисментов из рукавов...

Только слава — это не аплодисменты и восхищение. Это ответственность. Думать: сколько для тебя сделано другими, все ли ты до конца выполнил? Стань сам себе строгим судьей, и тогда твое самомнение будет сидеть в темном углу, за крепкой решеткой самокритичности. Вот повоюете, станете вы у меня гвардейцами, ордена появятся у многих, смотрите — не задаваться!

— Ну-у... нет! Не будем! — гудим мы.

— О! — спохватывается Раскова, взглянув на часы.— Давно уже время отбоя прошло. Заговорили вы меня, а завтра рано лететь. Пора отдыхать!

Мы тихонько укладываемся спать, но долго еще перед глазами шумит далекая суровая тайга, висит хмурое небо над сопками, пузырятся топи и болота и видится затерявшаяся в таежных дебрях маленькая женщина...

Женя проверяет, все ли улеглись, и выключает свет. Проходит в коридор, где стоит стол дежурного по полку: ее дежурство кончается сегодня в двенадцать часов. Садится и, развернув тетрадь дежурств, делает заметки. Тихо скрипит дверь, ведущая в комнату, где спят летчицы, и на пороге показывается фигура в белом нижнем белье, но на голове браво надвинутая пилотка.

— Ты куда? — Женя не разбирает в полумраке, кто это.

— Разрешите пройти, товарищ комэск?

— Куда тебе?

— Да...— мнется девушка.

— А пилотка зачем на голове?

— Ну... А вдруг приветствовать придется кого-нибудь.

— Марш отсюда! Чтобы в таком виде мне на глаза не показывалась!

Дверь громко хлопает, а Женя смеется, вытирая глаза рукой.

— Ну, вояки! Господи, выучу я их когда-нибудь?!

Женя поднимается с рассветом, чтобы проводить Раскову. Командир сначала должна побывать в первой эскадрилье, базирующейся на другом аэродроме неподалеку, а затем улететь в Москву за новым заданием для полка.

Самолеты на стоянке завалены снегом. Изморозь серебряными узорами блестит на винтах. Только площадка у самолета командира полка уже расчищена, и механик с паяльной лампой в руках отогревает моторы. Синие тени дрожат на снегу от шипящего пламени лампы. Потирая щеки шерстяной варежкой, Женя подходит к самолету.

— Все готово, товарищ комэск! — докладывает механик.



Командир полка пикирующих бомбардировщиков Герой Советского Союза Мариия Раскова.

— Воду залили?

— Залить-то залили, да все время на прогреве держать надо,— говорит механик, поправляя замасленную шапку припухшими от мороза руками.— Пока довезут,— кивает он в сторону бочки, установленной на полозьях,— уже холодная. А моторы гонять — сколько бензина израсходуешь. Так вот и крутимся: то моторами греем, то лампой.

— Да, мороз-то зверский. Не забудьте долить бензобаки.

— Заправщик сейчас подойдет.

Женя идет дальше по стоянке. Неподалеку от самолета командира полка стоит еще одна машина. Ровные снежные кирпичи аккуратно сложены вокруг этого самолета полуовалом, и, как показалось Жене, даже сама стоянка подметена: за хвостом машины, там, где находится длинный ящик с инструментом, лежит забытый веник.

«Татьянина машина,— думает Женя, взглянув на номер самолета,— молодец девка. Раньше всех встала, хоть чистить стоянки приказано после завтрака. Молодец...»

Она возвращается, увидев Раскову у самолета.

— Жди приказа, Евгения Дмитриевна,— говорит Раскова, затягивая шлемофон,— и сразу же вылетай к новому месту базирования, не ожидая моего возвращения. Я вылечу с первой эскадрильей.

— Понятно, товарищ командир.

— Следи за погодой, при сомнительных погодных условиях не вылетай. Лучше задержись, тогда уж полетим вместе.

Раскова занимает место в самолете, слышна команда «От винтов!» — и снежный буран бушует позади самолета. Женя отходит к краю стоянки. В открытое боковое окошко кабины ей видна Раскова. Губы ее шевелятся: похоже, она что-то говорит радисту. Потом улыбается Жене и, высунув руку в окошко, машет в сторону. Техник лезет в шасси вытаскивать тормозные колодки.

Женя идет к старту. На укатанной белизне взлетной полосы чернеют полотнища посадочных знаков. Дежурный из стартового наряда в одиночестве притопывает у края полотнища.

Оставляя позади себя глубокий рубчатый след, самолет Расковой выруливает к старту. Винты, словно маленькие радуги, сверкают в морозном воздухе. Взревели с натугой моторы, набирая мощность, закружилась поземка, засыпая черное пятно полотнища. Медленно, словно нехотя, самолет набирает скорость, снежный вихрь, поднятый воздушной струей, скрыл взлетающую машину, гул моторов стал глуше, и только в конце взлетной полосы Женя видит мелькнувший самолет.

2

Наш новый аэродром на левом берегу Волги был просто ровным полем, слегка укатанным катками. Сквозь тонкий слой снега кое-где виднелись песчаные проплешины с кустиками засохшей полыни и каких-то колючек. Грустные верблюды медленно вышагивали по краю взлетной полосы. Вокруг, до самого горизонта, лежала степь, приглаженная морозными ветрами.

Самолеты ровной цепочкой выстроились в дальнем конце аэродрома. Два деревянных дома, где разместились штаб полка и столовая, да несколько землянок, полузасыпанных снегом, виднелись невдалеке.

Женя рванула промерзшую дверь домика-штаба, и в небольшую комнату ворвалось белое морозное облако.

— С Новым годом! — отряхиваясь у двери от снега, весело сказала Женя.— Опять метет, еле добралась от землянки. С ног валит. Что нового? Командир не вылетела?

— Майора не выпускают из Москвы, погоды нет. Хорошо, что хоть обе эскадрильи «поймали» погоду и перелетели к фронту,— ответила начальник штаба полка капитан Казаринова, подтянутая, небольшого роста женщина, с короткими темными кудрями.— Приказ вот уже пришел,— протянула она листок бумаги, —заняться срочно высотными полетами. Видно, планируют вас в разведчики.

— Начальству виднее,— ответила Женя,— в разведку так в разведку, только побыстрее бы, а то засиделись мы. Летчики летать разучатся.

— Как только установится летная погода, сразу же и приступите. А пока прикажи штурманам эскадрильи заняться изучением района полетов. В первой эскадрилье уже приступили.

Первая эскадрилья и ее командир Надежда Федутенко — слабость капитана Казариновой. Еще бы! В эскадрилье собрались такие летчики! Ольга Шолохова, Галя Лапунова, Саша Кривоногова, Галя Ломанова, вся эскадрилья — опытные летчики из Гражданского Воздушного Флота. Не то что вторая — девчонки из Осоавиахима, хохотушки, не смыслящие ничего в дисциплине воинской и, как казалось начальнику штаба, весьма легкомысленные.

— Хорошо,— ответила Женя. В словах капитана ей послышался упрек.— Завтра с утра займемся районом полетов.

Настроение у Жени испортилось. Она вышла из штаба и по протоптанной в снегу тропинке пошла к землянке, где расположилась ее эскадрилья. Еще издали она заметила какой-то щит, прибитый над дверью землянки. Подойдя ближе, Женя увидела кусок фанеры, на котором алел нарисованный цветными карандашами букет и посредине вилась надпись славянской вязью: «Гостиница «Красный мак».

— Ну...— только и смогла выговорить Женя, спускаясь по ступенькам, покрытым слоем льда.

При входе комэска девчата, занятые своими делами, встали.

— Чья работа? — сердито спросила Женя.

— Какая? — Катя Федотова, летчик второго звена, смотрела на Женю голубыми невинными глазами.

— Какая, какая! Вон та! Над дверью!

— Моя работа,— ответила Валя Кравченко, штурман эскадрильи.— Девчата попросили, я и нарисовала.

Когда Женя сердилась, она начинала говорить скороговоркой и слегка проглатывать слоги.

— Ты тоже у них на поводу? Попросили! Где это видано, чтобы в армии вывески вывешивали?

— Ну, что ж тут такого...— пыталась вставить слово Катя, но Женя махнула на нее рукой.

— Вот я вам покажу, что ж тут такого! Только и слышу в штабе про вторую эскадрилью. Что случится — где? Во второй эскадрилье. Чей экипаж бортпаек съел? Неприкосновенный запас? А если вдруг вынужденная посадка или что?

Женя не кричала, только говорила быстро-быстро, немного окая и брови ее колюче шевелились.

— Вывеску придумали! Снять и садиться за карты! Район полетов выучить на память, сама проверю каждого. Ясно?

— Ясно...— нестройным хором ответили девушки.

Зашуршали географические карты. Изредка слышался негромкий спор штурманов, что-то доказывавших друг другу в дальнем углу землянки. Все еще сердито поглядывая на летчиков, Женя разбирала полетные документы. Потом решила идти на аэродром, чтобы узнать прогноз погоды и проверить караул.

— Проконтролируй,— сказала она Вале Кравченко.— Я скоро вернусь.

Валя кивнула и быстро опустила глаза, чтобы Женя не уловила ее взгляда, брошенного на стену у входа. Там висела стенгазета. Это была обычная эскадрильская газета, но только сейчас там, в разделе юмора, красовалась Женя со всем военным снаряжением — противогазом, летным планшетом, низко висящей кобурой пистолета и горящим электрическим фонариком.

Женя сама часто подсмеивалась над тем, что приходится нам носить на себе, но как она примет это сейчас?

У Вали дрожали губы от сдерживаемого смеха, тонкая шея с глубокой ямкой на затылке, в мелких завитках волос напряженно вытянута в широком вороте гимнастерки. Валя незаметно оглянулась и подмигнула нам. У выхода Женя остановилась и взглянула на стену. Заложила руки за спину и стала пристально, покусывая губы, рассматривать рисунок. Мы притихли, делая вид, что заняты своими делами.

— Со-обаки...— послышалось сквозь короткий смешок.— Придумают...

Порывистый ветер немного разнес облачность, небо посветлело, но временами ветер бросал в лицо остатки снежной крупы с налетевшей тучи. «Погода, кажется, разгуливается,— поглядывая вверх, думала Женя, шагая к аэродрому.— Надо планировать полеты на завтра. Конечно, девчонки молодые — позоровать хочется, посмеяться, забыть, что война кругом. Да и к дисциплине воинской привыкнуть сразу трудно. Как это Валя назвала четверку с Федотовой во главе? «Галоиды», что ли? Да, у меня в эскадрилье вся таблица Менделеева, не только «галоиды», каждый на свой лад, свой характер. А летчики хорошие, старательные... Интересно, а кто же из них хлор, а кто фтор?»

На взлетной полосе, в той стороне, которая ближе подходила к командному пункту, она заметила

зарулививший самолет. Видно, он приземлился только что. Окраска самолета была не полковой, да и рулил он неуверенно, точно сел сюда в первый раз.

Женя подошла ближе. Машина была выкрашена под «зимний» камуфляж белыми, замысловатыми пятнами. Она казалась странной и чужой в этой раскраске, словно неведомое существо. Моторы еще работали, и вращающиеся винты «пешки» были похожи на белые, огромные блюдца.

Моторы остановились, с грохотом упала нижняя дверца люка, и из кабины выпрыгнул летчик в шинели и хромовых сапогах. Он стоял к Жене спиной и снимал парашют.

— Не по сезону одежонка-то,— сказала Женя.

Парень оглянулся и застыл от изумления.

— Евгения Дмитриевна?! Это ты?

— Я,— ответила Женя, присматриваясь. Потом всплеснула руками и бросилась к парню.— Савельев! Как ты тут очутился?

Это был летчик-инструктор, с которым Женя летала до войны в Минеральных Водах.

— Да вот пришлось сесть к вам, подзарядиться горючим. Под Сталинград летим, Евгения Дмитриевна, задерживаться некогда. Я ведь тебя ищу сколько времени о ребятах твоих сообщить. Улетел я из Минеральных Вод последним самолетом и ребятишек увез в Чарджоу. А сообщить тебе все никак не мог, не знал, где ты...

— Алешка, дорогой мой,— растерянно всхлипывала Женя,— я ведь и надежду чуть не потеряла. Здоровы ли?

— Все было в порядке, Евгения Дмитриевна, когда я улетал от них. Устроил там прилично, бабушка молодцом держится.— Алексей притопывал застывшими ногами и растирал побелевшие на морозе щеки.

— Ой,— спохватилась Женя,— что ж ты так-то, налегке? Пойдем, унты тебе раздобуду, ноги отморозишь.

— Некогда, комэск. Это я тебя по старой памяти, а теперь ты кто?

— Тоже комэск, Алеша. В полку Расковой.

— Слыхал о полку. Трудновато приходится? — кивнул Алеша в сторону «пешки».— Машина-то — ого!

— Справляемся.—Женя погладила серый рукав шинели Алексея.— Может быть, встретимся в воздухе, так ты запомни: номер моего самолета — одиннадцать на шайбе хвоста.

— Запомнил, комэск. Ну, а теперь прощай. Главное я тебе сказал. Вот ведь удача — наверно, раз в жизни и бывает такое.

— Спасибо, Алеша. Ты мне сегодня такой подарок сделал, никогда не забуду...

Женя заморгала глазами. И было непонятно: то ли это слезы, то ли запорошило снегом глаза от снежного вихря, поднятого заработавшими моторами.

Самолет взлетел и скрылся в просвете между тучами. Женя долго стояла на безлюдной полосе. Потом глубоко и облегченно вздохнула и пошла к штабу.

«Чарджоу? Где это? Надо посмотреть в штабе, там есть карта Союза. Значит, живы! Вовка вырос, наверно... А Надюша? Уже больше года я не видела их... Не забыли ли меня?! — вдруг заволновалась Женя.— Пошлю им фотографию, завтра же! И деньги надо перевести. Голодно, наверно, там им...»

Вечером в землянке Женя сидела в углу за дощатым столом, подперев щеку рукой, и была такая домашняя, тихая, вся ушедшая в свои далекие мысли. Вспомнила, как приносила бабушка на аэродром маленькую Надюшку и Женя, выбрав несколько свободных минут в перерыве между полетами, уходила за стартовую будку и там кормила дочку, чтобы не видели курсанты-летчики. Гудели над головой самолеты, теплый ветер трепал траву, дочка, устав от еды, засыпала.

Вспомнила, как повисли ребятишки у нее на шее в тот последний день, когда она уезжала в полк, на фронт. Как сын все карабкался, отталкивая сестру, по коленям Жени, пока не забрался на ее спину.

И «похоронку» вспомнила. Она получила ее весной сорок второго... «Ваш муж...» — начиналась она словами. А дальше были темнота, отчаяние, непоправимость... Она ушла в тот день за аэродром, далеко в поле, чтобы никто не видел ее слез...

В углу, у кучи сваленного летного обмундирования, шептались девчата, перекладывая свои вещевые мешки. В другом углу, на нарах, неразлучная четверка — Катя Федотова, Тоня Скобликова, Саша Егорова и Маша Кириллова читали помятую фронтовую газету.

Я наблюдала, как Клара Дубкова укладывает свой рюкзак.

— Ну, чего тебе? — спросила она.

— Дай косу примерить.

Коса у Клары на редкость. Светло-русая, в руку толщиной. Когда она пришла к парикмахеру, чтобы постричься, тот в немом отчаянии опустил руки: «Не могу... такую косу...» «Да режьте поскорей,— чуть не плача, сказала Клара.— Приказ командира, как же я в строй стану?!»

С тех пор коса Клары лежала в вещевом мешке.

— Ты хохол свой сначала причеши, торчит на макушке, как у петушка.

Я пригладила вихор и дважды обмотала голову косой Клары.

— Хорошо...— раздались голоса «галоидов».— Теперь бы платье.

Платьев ни у кого из нас не было. Мы давно уже забыли легкость и прохладу наших довоенных платьев.

— Ну-ка, примерь вот...— послышался голос Жени. Она раскрыла свой единственный на всю эскадрилью чемодан и достала что-то яркое, воздушное, цвета весеннего солнца.

— За таким платьем все модницы в Сочи бегали,— сказала Женя.

Путаясь в портянках, я побежала к Жене и бережно взяла платье. Оно ярко-желтое, солнечное, с черной шнуровкой от ворота до края подола. Внизу шнуровка заканчивалась двумя тяжелыми кистями.

— Я тоже хочу померить! И я! И я! И мы! — хором закричали «галоиды».

По очереди примеряли мы платье, расхаживая вокруг печки, и нам казалось, что в этот вечер нового, 1943 года в нашу темную, заваленную снегом землянку пришла весна. Потом мы бережно сложили и спрятали платье.

— Красиво-то как...— вздохнул кто-то.

Метель гуляла по Заволжью еще два дня. Расчищенные с утра стоянки самолетов к вечеру заносило снова. С сумерками мы возвращались с аэродрома в свои землянки взмокшие, усталые от бесконечной, казалось, борьбы с ветром и снегом.

Потом непогода ушла на восток. Выглянуло солнце — холодное, будто начищенное зимними ветрами. Аэродром ожил, зарокотал. Струи воздуха от работающих моторов сдули остатки снега, и только

изморозь серебряным панцирем искрилась на крыльях самолетов.

Поглядывая на все свысока, верблюды развозили по стоянкам горячую воду в бочках, установленных на санках. Техники подтаскивали кислородные баллоны, заправляли бортовые системы, готовили самолеты к полетам на высоту. Под капотами моторов гудели печи для подогрева.

— Давай, давай, поживее! — покрикивала Женя, шагая от самолета к самолету, неуклюже косолапя ногами по рыхлому снегу.— День короткий, времени мало. Надо успеть всем сегодня слетать.

Задание на полет было несложным: подняться на пять—шесть с половиной тысяч метров, проверить кислородное снаряжение в работе, выполнить элементы пилотажа в зоне. В следующие дни планировались полеты на высотах шесть и семь с половиной тысяч.

Женя вылетела первой, чтобы потом, после посадки, рассказать летчикам о поведении машины на высоте, о приемах пилотирования, о тех неожиданностях, которые подстерегают летчика в таком полете.

На высоте около двух тысяч она сделала «площадку», термометр за бортом показывал около минус тридцати, потом снова перевела самолет в набор высоты.

Когда она вышла на пять тысяч метров, аэродром внизу почти скрылся в туманной морозной дымке. Крохотные коробочки домов едва просматривались. Заснеженное русло Волги, изгибаясь, тянулось к югу, и там, в той стороне, где должен быть Сталинград, ползла по земле черная пелена. По левому берегу реки блестело на солнце озеро Эльтон, и Женя, выйдя на него, развернулась обратно.

Кислородная маска, с бахромой инея по краям, мешала, холодила щеки. Временами Женя отпускала сектор газа и смахивала с лица налипший иней.

Валя Кравченко вертелась позади нее, за бронеспинкой, наклоняясь то влево, то вправо, примечая ориентиры. Кислородная маска тоже закрывала ее лицо с веселыми лучиками морщинок в уголках глаз.

— Видела? — кивнула Женя в сторону скрытого дымом Сталинграда.

Валя повернулась назад и отвела в сторону пулемет. Далеко внизу, за хвостом самолета, еле угадывались очертания разрушенного города.

— Люди воюют, а мы тут воздух «утюжим»,— услышала она приглушенный маской голос Жени.— Кому нужна сейчас эта высота... Горючее только зря переводим.

— Ты не ворчи, Женя. Тренировки на высоте тоже могут пригодиться когда-нибудь.

— Вот то-то и дело, что когда-нибудь.— Женя похлопала замерзшей рукой по коленке.— Ну, что ж, полезем еще повыше.

Самолет медленно, будто нехотя, набирал высоту. Монотонное, успокаивающее гудение моторов, стертая, притуманенная линия горизонта, переходящая в заснеженную равнину, почти неподвижную, на которой не за что было уцелиться взглядом, словно самолет повис в одной точке огромного пространства неба, вызывали расслабленность и сонливость. Женя временами слегка встряхивала штурвалом, чтобы сбросить с себя и, ей казалось, с самолета тоже эту сонливость.

Стрелка высотомера перевалила за шесть тысяч метров. Самолет вошел в зону пилотажа, и Женя, сделав попеременно два левых и два правых виража, перевела машину на «боевой разворот». Она слегка убрала сектор газа и отдала штурвал от себя. Самолет легко понесся вниз, и в одно из мгновений, когда скорость подошла к четыремстам километрам, она ввела самолет в набор высоты, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов.

Все шло, как обычно при пилотаже, только замедленная реакция самолета на движение рулей заставляла ее сдерживаться, ждать. Уже на самом выходе из боевого разворота, когда самолет снова выскочил на шесть тысяч метров, винт правого мотора вдруг «завыл», что среди летчиков называлось просто — «раскрутка». Она изменила шаг винта, прислушиваясь, как стихает «вой».

— Взбесился прямо мотор,— стаскивая маску с лица, сказала Женя.— Неприятная штука.

— А я подумала: чего это он так загудел? — складывая маски в мешок за бронеспинкой, ответила Валя.— Ужас...— тоненьким голосом повторила она.— Вроде теперь все в порядке.

— Порядок. Только летчиков надо предупредить. Тяга на моторе сразу падает, не растерялись бы.

Заходя на аэродром, Женя подумала, что три главные вещи должна внушить своей «таблице Менделеева»: следить за оборотами моторов, чтобы вовремя предупредить «раскрутку» винтов, не переохлаждать двигатели при спуске с высоты, не торопиться при пилотаже: «нервный», мгновенно реагирующий на любое движение рулей самолет, на высоте превращался в «лентяя».

Аэродром набегал внизу накатанной блестящей полосой. Мелькнул черный квадрат посадочного полотнища, шасси легко коснулись земли. «Кажется, села прилично — небось, там все смотрят, как комэск села. Вот вам... А снег рыхлый, укатали неважно, надо не забыть предупредить, чтобы при посадке не тормозили резко, на «нос» можно стать...»

Полеты уже заканчивались, и Женя, проследив за посадкой последней машины, пошла в штаб, чтобы доложить об итогах летного дня. Она надеялась, что уж сегодня замечаний в адрес эскадрильи не будет: задание все летные экипажи выполнили, посадки у всех были приличные, хотя дымка к полудню увеличилась и заходить на аэродром стало труднее.

— Ну вот и день закончился! — весело сказала Женя, войдя в комнату штаба.— Отлетались сегодня все без происшествий!

Она сняла шлем и бросила его на скамейку у стены, расстегнула комбинезон и принялась стаскивать рукава. Но на ее возглас и такой не «воинский» доклад начальник штаба полка капитан Казаринова не обратила внимания. Она стояла у окна спиной к Жене и нервно мяла в руках какую-то бумагу. Ее заместитель Катя Мигунова при виде Жени уткнулась лицом в разостланную на столе карту.

Женя недоуменно застыла, забыв стащить второй рукав.

— Что случилось?

Капитан Казаринова медленно повернулась к ней, протянула листок. Насколько могла сразу сообразить Женя, это была телеграмма, принятая по телефону и записанная от руки. Взгляд бежал по строчкам, перескакивал через цифры... номер... входящий... число... приняла... пока не замер на строке, показавшейся ошибкой, абсурдом...

«4 января при перелете к месту базирования полка попав в сложные метеорологические условия в районе Саратова потерпел катастрофу самолет майора Расковой... Экипаж погиб...»

— Не может быть...— Женя опустилась на скамейку и сжала лицо руками.— Тут какая-то ошибка.

— Нет, к сожалению...— Лицо начальника штаба было суровым и бесстрастным. Только руки, креп-

ко сжимавшие туго затянутый ремень так, что побелели суставы пальцев, выдавали ее волнение.

«Это тогда,— с болью думала Женя,— два дня назад, наверно, когда мела метель... Как же так, что же будет с нами?»

— Завтра комиссар улетает в Москву, на похороны командира. Личному составу приказано продолжать тренировки, готовиться к боевой работе. Командование полком приказано принять тебе.

— Мне? — растерянно переспросила Женя.— Я полк не приму.

— Это почему же?

— Не буду принимать полк,— упрямо повторила Женя.

Чтобы она, Женя Тимофеева, смогла заменить Раскову? Сейчас, когда начинается боевая работа? Командира, который был примером для всех летчиков не только в военном понимании? Правда, у Жени есть летный опыт, командовала эскадрильей еще до полка, сотни ее учеников воюют сейчас на фронте, но полк... руководить командирами, у которых за плечами военные академии? Да ведь она неграмотная по сравнению с ними.

— Не будем спорить сейчас, не время, Евгения Дмитриевна. Прикажи выстроить полк.

— ...Клянемся пронести имя нашего командира через все бои...— высоким голосом говорила комиссар перед выстроившимся полком.— Клянемся в предстоящих сражениях заслужить звание «гвардейцев»... Клянемся быть храбрыми и мужественными...

— Клянемся...— шептала Женя, застыв в скорбном строю.

3

Уже несколько дней мы жили в глинобитной хатке на краю деревни. Мы перелетели сюда, на полевой аэродром, поближе к линии фронта, и завтра должны идти на первое боевое задание.

Молодая женщина с грудным ребенком да ее старушка-мать приютили нас в своем домике — в комнатушке, двери которой выходили прямо во двор, обнесенный редкими прутиками тальника. Клара Дубкова, ее радист Тоша Хохлова и я спали на узком деревянном сундуке у обледенелого окошка. Как нам это удавалось — трудно сказать, но Тоша жаловалась, что за ночь у нее к стене примерзал бок.

Связки полыни лежали у двери, и в комнате чувствовался горьковатый степной запах. Полынью мы топили печь. Сегодня моя очередь присматривать за огнем, его надо поддерживать всю ночь. Но топлива мало, и я понемножку подкладывала небольшие кучки хрустящих веток на горку тлеющего пепла. Полынь жарко вспыхивала, через несколько секунд поржавевшие бока печки накалились докрасна, и тепло растекалось вокруг. На лице у спящей Тоши появилось блаженное выражение. «Небось, плюшки снятся...» — усмехнулась я про себя.

...Сегодня вечером, едва закончилась предполетная подготовка и мы уже складывали карты, чтобы идти отдыхать, как в комнату эскадрильи вошла Женя.

— Ну, галоиды-галогены и вся таблица Менделеева, вот вам!

Мы застыли в немом изумлении, а Женя, улыбаясь во весь рот, торжественно поставила на стол большую плетеную корзину со сдобными булками.

— Вот это да-а..— Тоша даже присела на край дощатых нар.

Еды нам всегда не хватало, да и была она скудной. Перловая каша с конопляным маслом порядком надоела, а тут такая роскошь!

— Откуда, комэск? Может быть, посылка?

— Ну, какая посылка с булками?! Я сегодня была на собрании в соседней деревне, доклад там делала. Вот, пока я говорила, женщины подарок всем вам приготовили.— Женя присела у стола и вытерла ладонью мокрое от растаявшего снега лицо.— А чтоб никому не было обидно, разделим по-братски: брату побольше, себе поменьше.— Женя снова рассмеялась и, оглядываясь вокруг, вдруг повернулась ко мне: — Вот ты давай и дели! Только честно, а то подружек у тебя много.

Я уселась на нары и поставила корзину к себе на колени. Булки разные: побольше, поменьше — и пахли они домом, праздником, покоем. Я даже задержала дыхание, чтобы продлить это наслаждение.

— Кому? — выбрав самую большую и румяную булку, спросила я. Все отвернулись в сторону, а Тоша крикнула:

— Жене! Комэску!

— Нет, нет! — запротестовала Женя.— Я уже свою съела по дороге.

— Женя, бери! — подскочила к ней ее штурман Валя.— Ты ведь неправду говоришь, не ела ты.

— Ела, тебе говорят,— притворно сердилась Женя.— Не булку, так другое. Вот ведь базар устроили.

— Не придумывай, Женя. Честно так честно! — не отставала Валя и спрятала булку в карман Жени.

Дальше раздача пошла быстро, корзина опустела, и, наконец, на дне ее осталась последняя булочка. Никто не кричал, кому она предназначена,— она моя. Я взяла ее в руки и разглядывала со всех сторон. Мне не хотелось ее есть — жалко. Такая красивая, мягкая плюшка!

— Ешь, заморыш! — Женя ласково потрепала меня по голове.— Ешь, а то уже на твою булку поглядывают,— шутливо добавила она.

Я вздохнула и откинулась спиной к стене. Закрыв глаза, тихонько жевала. Невероятно вкусная булка!

Женя проводила звено Маши Долиной и осталась на старте. Самолеты, поблескивая на солнце, разворачивались плавной дугой над дальним краем аэродрома. Летчики уходили в боевой вылет на Сталинград.

Вылет должен продлиться немногим больше часа, и она решила ждать здесь, на старте, возвращения экипажей. Вчера она уже летала сама, правда, в качестве рядового летчика в составе другого полка, чтобы узнать, где и как расположены цели, порядок захода и другие задачи, которые необходимо знать командиру полка,— ей приказали принять полк до назначения нового командира. Сегодня в первом вылете с ней летали командиры звеньев, теперь они сами пошли на бомбометание.

Она пока не ощутила большой разницы между обычным тренировочным полетом и вылетом на боевое задание: истребители противника не появлялись, редкие темные шары разорвавшихся зенитных снарядов плыли в вышине тихо и, казалось, безобидно, медленно расползаясь по блеклому небу. Только квадраты почерневших от пожаров пустых коробок сгоревших домов заставляли сжимать-

ся сердце, а руки точно, сантиметр за сантиметром, повторяли движения ведущего самолета.

Под фюзеляжем висели не тренировочные цементные бомбы, а боевые «фугаски», на первый раз только четыре «сотки». После того, как самолет подбросило и бомбы сорвались с бомбодержателей, ей очень захотелось взглянуть, куда они упали, но она только спросила Валю:

— Ну, как там?

— Точно,— коротко ответила Валя, разворачивая прицел, через который она наблюдала за полетом бомб, и закрепляя его в «гнезде».

— И еще сапог летел с какого-то самолета,— добавила Валя

— Вот я им покажу сегодня на разборе полетов, как машину готовить. Срам!

После посадки Женя не стала выяснять, чей сапог упал из бомболюков. Вылет прошел, и «проработку» она решила оставить на вечер, когда будет подводить итоги дня. Мы заметили, что она чем-то недовольна, хотя как будто бы нас упрекнуть было не в чем: шли в строю хорошо, отбомбились тоже. Сапог мы, конечно, тоже заметили, но помалкивали. Сейчас, ожидая возвращения экипажей, Женя нет-нет, да и вспоминала об этом злосчастном сапоге.

«Осмеют ведь на всю дивизию, если кто из другого полка заметил. А в штабе скажут: опять вторая эскадрилья. Кто бы это мог быть? Не сознаются ведь...»

Мороз все еще держался около тридцати, и Женя натянула меховые перчатки, висевшие на шнурке, пропущенном под воротник. Иногда она приоткрывала дверь в машину — радиостанцию и спрашивала радиста:

— Как там?

— Тихо,— каждый раз отвечал радист.

Тихо... Значит, все в порядке. И она снова принималась шагать вдоль взлетной полосы.

Гибель Расковой она все еще не могла осознать и пережить. Она никак не привыкала к мысли, что не увидит рядом с собой у пылающего огня задумчивое лицо командира, не услышит ее мягкий голос. Перед глазами стоял еще тот день, когда Раскова махнула рукой и взлетела. Кто бы мог подумать, что Женя видела ее улыбку в последний раз...

«...А летала она хорошо,— думала Женя, поглядывая в ту сторону, откуда должны были появиться самолеты с задания,— хоть была только штурманом и вылетела на «пешке» вместе с остальными летчиками. Это ведь не так просто, по себе знаю... А как тогда она посадила машину, во время первого самостоятельного вылета, когда у нее на самолете сдал один мотор? Не растерялась, на одном работающем моторе приземлилась на таком «пятачке»... Не каждый смог бы. И вот из-за погоды...»

Женя вздохнула и круто повернула к радиостанции.

— Что там? — спросила она радиста. — Отбомбились?

— Да, товарищ командир. Возвращаются. Только Долина передает, что на машине номер тринадцать неисправно шасси, не убралось.

«Тринадцатая? Да ведь это номер Матюхиной»,— вспомнила Женя.

— Передай тринадцатому, чтобы выпускали шасси аварийно и садились последними. Понятно? Если шасси не выйдут, садиться на фюзеляж.

— Понятно, товарищ командир. Связываюсь.

«Вот тебе, на тебе... этого еще не хватало...» Она с раздражением стащила запутавшийся за воротник шнурок, дернула и швырнула перчатки под колеса автомашины. Сутулясь в мешковатом меховом комбинезоне, быстро прошла к дежурному стартеру и схватила у него флажок.

— Проследи, чтобы никто не сунулся на полосу, быстро!

Машину с неубранными шасси она заметила сразу, как только тройка самолетов показалась над аэродромом. Одно колесо, как подбитая лапка у птицы, смешно и необычно торчало под мотором.

Она яростно замахала флажком первому приземлившемуся самолету, показывая, чтобы тот быстро уходил с полосы на рулежную дорожку. Когда сел второй самолет и покатился в сторону стоянок, Женя бросила флажок в сторону и, запрокинув голову, стала следить за «пешкой», которая круг за кругом ходила над аэродромом. Правое шасси вышло нормально, насколько могла заметить Женя, а левое все так же оставалось полусогнутым.

Она взглянула на часы. По расчету, горючего на самолете должно хватить еще минут на пятнадцать; надо сажать самолет, чтобы не пришлось Вале уходить на второй заход с пустыми баками, если вдруг не рассчитает правильно заход на посадку с первого раза. Сажать только на фюзеляж, риск будет меньшим, чем если бы летчик решил сажать машину на одно колесо. Хотя поломка, возможно, и будет большей...

— Передай приказание: убрать шасси, садиться на фюзеляж! — снова крикнула Женя радисту.

Когда самолет вновь прошел над посадочной полосой, шасси оставались выпущенными. Он развернулся и стал заходить на посадку.

— Ты передал мое приказание?

— Да, товарищ командир. Командир экипажа ответила, что будет сажать самолет на одно колесо,— ответил радист.

— Вот со-обака...— тихо, чтобы радист не услышал, сказала Женя и застыла на месте, не спуская взгляда с самолета.

— Круче, круче...— приговаривала она про себя.— Так... скорость держи, скорость! Закрылки выпустила. Хорошо... Крен побольше... Крен, тебе говорят!..— крикнула Женя, как будто летчица могла услышать ее.

Самолет планировал уже на прямой перед приземлением, и было слышно, как гул моторов, повинуясь руке летчика, то стихал, то вдруг нарастал; летчица «подтягивала» машину, выдерживая посадочную скорость. «Пешка» шла с левым креном, словно прицеливаясь одним колесом к границе посадочных знаков.

— Не плюхнулась бы... Второе шасси не выдержит, сломается... Ниже подводи, ниже!

Самолет чиркнул колесом у самого черного полотнища и понесся мимо Жени, взметая колючий снежный вихрь. Будто канатоходец, расставив руки-крылья, бежал он, как по проволоке, на одном колесе в конец посадочной полосы. Следом за ним, задыхаясь и грозя кулаком, бежала Женя.

В конце аэродрома, потеряв скорость, самолет накренился вправо и, описав полукруг, замер.

Экипаж уже вылез из машины, когда к ней подбежала Женя.

— Почему не выполнили мое приказание? — еле переведя дыхание, проглатывая в скороговорке слоги, крикнула Женя.— Вам что было приказано?

— Так жалко же машину...— пыталась оправдаться Матюхина.— Я же хорошо посадила...— Улыбчивые ямочки на побледневших щеках стали еще глубже. Серые глаза с надеждой и ожиданием следили за Женей.

— Посадила... А чем рисковала? Самолет в дым, сам невредим? Или и своей головы не жалко? Аварийным выпуском работали?



Штурманы второй эскадрильи. Слева направо: Галя Маркова, Клара Дубкова, Аня Кейзина, Валя Кравченко, Паша Зуева,

— Качала...— подала свой голос штурман Паша Зуева.— Четыре круга качала, вторая «нога» никак не выходила.

«Покачать» вручную аварийный гидровыпуск шасси не очень-то легко; видно было, что Паша устала, мокрые волосы выбились из-под шлемофона, но она словно бы чувствовала неловкость перед комэском, что не смогла «качать» еще, как будто бы в этом была необходимость.

— Понятно,— успокаиваясь, сказала Женя,— значит, неисправность. Но в таких случаях самое безопасное — посадка на «брюхо», это вы помните?

— Конечно.— Валя посмотрела на завалившийся набок самолет.— Но ведь поломка была бы большей?

Как летчик, Женя понимала Валю: всегда хочется сделать все, чтобы спасти машину, тем более сейчас, когда самолетов не хватает и даже запасных в полку нет. Но как командир...

— На гауптвахту за невыполнение приказа; за посадку — благодарность.

Глаза у Вали стали, как у ребенка, которого незаслуженно обидели.

— А как же боевые вылеты?

— Интересно, на чем вы собираетесь лететь? На палочке? Чтобы я отобрала машину у другого экипажа? Не получится... Самолет оттащить с полосы, чтобы не мешал другим на посадке. Все.— Женя повернулась и направилась на командный пункт полка, чтобы написать донесение о поломке.

На следующий день с рассвета эскадрилья была уже в воздухе. Район бомбометания оставался прежним — тракторный завод, но цели переместились в центр, наши войска сжимали кольцо окружения врага. Как и накануне, вылет прошел спокойно, и Женя, разворачиваясь после бомбометания, подумала, что это в общем-то неплохо: экипажи научатся спокойно разбираться в целях в воздушной обстановке. Перед вылетом она дала задание всем стрелкам-радистам и штурманам подсчитывать и определять типы самолетов, замеченных в воздухе над целью.

— Чтобы не зевали в воздухе, а видели все, что вокруг делается, и были готовы к отражению атаки истребителей противника в любой момент полета,— говорила Женя на предполетной подготовке.

Самолет Вали Матюхиной, который вчера оттащили трактором к краю полосы, мелькнул рядом, когда Женя заходила на посадку. Холод донимал, и она торопилась побыстрее зарулить и хоть немного отогреть руки у костерка, предусмотрительно разложенного механиком поодаль от стоянки.

Едва она выбралась через нижний люк, как техник самолета, не дожидаясь обычного доклада летчика о работе моторов и приборов, сказал:

— Новый командир полка прилетел.

— Да? — Женя забыла о костре сразу.— Где же он?

— А вон там, по стоянкам ходит. И за посадкой наблюдал.

«Самолет-то поломанный не оттащили подальше,— подумала Женя.— Прилетел, а тут тебе подарок сразу. Показали себя... Идти докладывать или здесь подождать? Пойду, наверно...»

Женя медленно, собираясь с мыслями, двинулась в ту сторону, где она заметила командира. Он шел ей навстречу, похлопывая прутиком по голенищу сапога. Высокий, худой, в перешитой солдатской шинели и низко надвинутой шапке-ушанке, исподлобья он посматривал вокруг.

— Товарищ...— Женя взглянула на петлички шинели,— ...майор, исполняющий должность командира полка и командир второй эскадрильи старший лейтенант Тимофеева. Полк возвратился с боевого задания.

— Майор Марков,— сухо представился командир.— Чья это машина? — кивнул он в сторону самолета Вали.

— Самолет второй эскадрильи. Летчик сажала машину вчера на одно колесо.

Командир полка ничего не сказал. Медленно, все так же похлопывая прутиком, пошел дальше вдоль стоянки. Женя пошла рядом с ним.

«Хоть бы спросил, как случилось...— с раздражением думала она.— Штык какой-то, а не командир».

У следующей стоянки новый командир полка обошел вокруг самолета, разглядывая его так, как будто бы видел «пешку» впервые. Заглянув в кабину стрелка-радиста, подвигал нижним пулеметом.

— Кто на самолете мастер по вооружению?

— Оружейника сюда! — крикнула Женя.

Подбежала девушка-сержант. Ее круглые щеки горели пунцовым морозным румянцем. Ватные брюки заправлены в огромные стоптанные валенки, она все топталась, никак не могла поставить ноги, как следует при отдаче рапорта: пятки вместе, носки врозь.

— Я!

— Не «я», а надо докладывать, как положено,— тихо заметила Женя.— Сколько раз говорить надо?!

— Пулемет давно чистили? — спросил командир полка, показываясь из-под самолета.

— Сегодня чистили.

— Он у вас откажет в воздухе, густо смазан для такого мороза.

Щеки у сержанта стали такими, что от прикосновения к ним загорелась бы спичка. На глаза навернулись слезы, и она прикрыла их промасленной байковой рукавицей.

«Ну, вот теперь совсем меня зарезали сегодня,— подумала Женя,— не хватало только слез, а так уж полный порядок. Майор решит, что попал не в боевой полк, а в детский сад». Но майор, искоса взглянув на сержанта, пошел дальше, изредка подергивая головой.

— Вечером собрать в штаб командиров звеньев и эскадрилий,— внезапно останавливаясь, сказал майор.— Поговорим обо всем. А пока можете быть свободны.

— Слушаюсь...— не очень бодро ответила Женя.

Вряд ли командир полка догадывался, кому и чему он обязан тем, что вдруг, так неожиданно он оставил свой боевой полк и попал сюда, в часть, которая только начинала боевые действия, да притом в часть необычную, где летный состав — девушки.

Несколько дней назад его вызвали в управление кадров Военно-Воздушных Сил. Шагая по длинному коридору управления, он недоумевал по поводу такого экстренного вызова.

Кажется, в полку у него все шло хорошо. После боев на Южном фронте сейчас полк получал новые самолеты и сразу же должен был отправляться в новый район боевых действий.

В кабинете у начальника он подождал минуту, пока генерал, занятый бумагами, освободится.

— Майор Марков прибыл по вашему вызову.

Генерал внимательно посмотрел на него.

— Как дела в полку?

— Полк получает новую материальную часть, товарищ генерал. Под Барвенковом мы много машин потеряли.

— Я слышал, вы тоже были сбиты?

— Да, товарищ генерал. Недавно возвратился из госпиталя.

Генерал немного помолчал.

— Вы, конечно, слышали о гибели Расковой?

— Да, товарищ генерал.

— Что вы думаете, если мы назначим вас командиром этого полка?

Майор Марков недоуменно развел руками.

— У меня же есть полк... И как я ими буду командовать? Женщины все-таки?

— Так же, как командовал раньше. Кстати, приказ уже подписан.

«О чем же тогда говорить,— подумал майор.— Приказ не перечеркнешь».

— Вы согласны? — спросил генерал.

— Мне ничего больше не остается, как согласиться.

— Ну, вот и хорошо. Здесь сейчас два экипажа из полка, с ними и вылетайте. Вы справитесь,— поднимаясь из-за стола, сказал генерал.— Летчики там хорошие. Желаю успеха.

— У меня к вам просьба, товарищ генерал.

— Да?

— Разрешите взять с собой мой экипаж. Мы летаем вместе с начала войны.

— Ну что ж,— подумал генерал,— возьмите.

Майор молча козырнул и вышел из кабинета.

«Вот это попал! — думал он, направляясь к выходу.— Ума не приложу, как это все вышло».

— Что, Марков, новое назначение получил? — спрашивали его знакомые летчики.— В какую часть?

— Не спрашивайте, в женский полк, вместо Расковой...

— На «пешках»?! Не завидуем!

Майор видел в одних глазах сожаление, в других ухмылки, и ему становилось все досаднее.

А дело обстояло просто. Все решил случай.

После похорон Расковой комиссар полка Елисеева вместе с летчиками Галей Лапуновой и Любой Губиной решили пойти в Управление кадров, чтобы узнать, кто будет назначен вместо Марины Михайловны.

— Летчики рвутся в бой, товарищ генерал,— убеждала Елисеева.— Нам нужен командир немедленно.

— Вот,— раскладывая на столе папки личных дел, сказал генерал,— здесь те командиры полков, которых я сам бы рекомендовал. Но у меня сейчас дел сверх меры. Посмотрите сами и выбирайте.

Они просматривали папки с личными делами, вглядываясь в чужие лица, пока Люба Губина не сказала:

— Давайте возьмем вот этого.

С фотографии, вложенной в личное дело, на них смотрели серые холодные глаза под насупленными бровями. На гимнастерке блестел орден Ленина.

— Воевал уже,— словно оправдываясь, говорила Люба,— на «пешках» — это ведь для нас главное. А Марину Михайловну кто может нам заменить...

— Будь по-вашему,— сказал генерал.— Завтра будет приказ.

Так и решилась судьба неизвестного им майора.

...Вечером в штабе собрались все командиры. Комэски доложили о составе эскадрилий, о выполнении боевых заданий. Новый командир слушал их доклады молча, набросив на плечи шинель.

— А говорили, у него орден,— прошептала Катя Федотова на ухо Маше Долиной.— Не видно что-то...

— Есть. Люба знает точно,— ответила Маша.

Услышав шепот, Женя оглянулась и посмотрела на них сердито.

— Начнем с дисциплины,— сухо заметил командир полка, когда командиры эскадрилий закончили свой доклад.— И с лётных тренировок.

— Но,— попыталась сказать командир первой эскадрильи Надя Федутенко,— у нас уже есть боевой опыт...

— Верно. Я сегодня наблюдал за вашими посадками. Неплохо. Но летать строем вы не умеете.

Даже шушукавшиеся Катя и Маша примолкли и насторожились. Им казалось — что-что, а летать строем они могут.

— Ваш строй годится над аэродромом, а не в воздушном бою. Если вы хотите воевать и побеждать, остаться живыми, то все это зависит только от отличного строя в боевых порядках.

«Штык-то штык, а говорит дело,— думала Женя.— Без строя нельзя. Посбивают сразу».

— Сталинградская операция закончилась, и, я думаю, нам дадут некоторое время для тренировок. А теперь, на сегодня, все,— неожиданно закончил командир полка.

Расходились по землянкам молча, пораженные столь кратким совещанием.

— Вот уж и вправду штык,— повторила Катя слово, которое сразу стало известно в полку.— Увидел сегодня моего стрелка-радиста и говорит: «А сапоги-то у вас поржавели».

— А с вами иначе нельзя,— строго сказала Женя.— Забывает кое-кто, что у нас боевой полк, а не аэроклуб.

— Мы же стараемся, комэск,— оправдывалась Катя.— Ну, бывает иногда...

— Плохо стараетесь.

А новый командир полка, подложив под голову летный планшет, укладываясь спать на классной доске, на которой еще виднелись старые записи мелом, спрашивал своего штурмана Никитина:

— Что скажешь, Николай Александрович?

— Да дело не так уж плохо, товарищ майор. Необычно только как-то... Я проверял штурманов перед совещанием. Район полетов знают хорошо, расчеты делают быстро. А бомбометание проверим.

— Да, нелегкая у нас с тобой задача... Мне хочется, чтобы они поверили: все, что я требую,— это для их же пользы. Что прилетели мы с тобой сюда не только воевать, но и учить. А на совещании смотрю на них и вижу такие злые взгляды...

— Обойдется, товарищ командир. Начнем летные тренировки, и все станет на место. Поверят вам.

— Да уж деваться нам с тобой некуда. Или грудь в крестах, или голова в кустах, как говорится.

За тонкой дощатой перегородкой, разделяющей дом пополам, слышался шорох разворачиваемых карт, тихий разговор. Командиры в штабе готовились к новому летному дню. От мороза потрескивали стены дома.

4

Внизу плыли облака. Холмистая пелена тянулась почти до горизонта. Налево, к востоку, она была тонкой, почти прозрачной. Кое-где облака расползались, и тогда, как в глубоком колодце, внизу проплывала земля: край зеленеющего поля, лесок, тоненькая завитушка речки.

Наверно, тысячу раз за многие годы работы до войны в Гражданском Воздушном Флоте видела Женя и облака, то ровные, как заснеженное поле, то громоздящиеся фантастическими башнями. И землю с разливами рек и ширью полей, прикрытых туманной дымкой. И небо, иногда блеклое, будто выцветшее от палящих лучей солнца, иногда си-

нее, холодное. Но каждый раз она видела все это будто впервые.

Женя взглянула наверх. Через прозрачный колпак кабины было видно облако, пухлое, с хвостиком, развеянным ветром. Оно казалось неподвижным, будто приклеенным над головой. «Какое смешное облако,— подумала Женя.— Все время летит с нами».

Странно, но в таких вот обычных, не боевых полетах Женя чувствовала себя гораздо спокойнее, чем на земле. Каждая минута на земле требовала ее вмешательства в чьи-то дела, проверки, занятия, разбора полетов. Даже вечерами она была во власти всех дневных дел, обдумывая их и составляя планы на завтра. Но вот в минуты, когда четкий «клин» девятки самолетов идет позади нее, а вверху теплое, синее небо со смешным, пристывшим к строю облачком, на нее снисходило ощущение покоя, будто все заботы и волнения оставались внизу.

Управление самолетом сейчас не требовало от нее большого напряжения, она почти машинально чуть-чуть иногда «поправляла» полет машины, и ей казалось, что самолет летит сам. Изредка Женя взглядывала на указатель скорости, выдерживая режим полета.

Сегодня полк совершал дальний перелет на Северо-Кавказский фронт с базы, где после боев под Сталинградом проводилось несколько летно-тактических учений. Настороженность и недоверие, с которыми она встретила появление нового командира полка, постепенно исчезали, и теперь Женя и сама, подражая командиру, выговаривала летчикам, плохо летавшим в строю.

— Вот я тебе! Что это ты болтаешься в стороне? А ты? Выруливала на старт, словно молоко в бидонах на рынок несла. Вылет по тревоге или на танцы собираемся?

Никто из нас не обижался. Отводили глаза в сторону, теребили ремешки планшетов, но все считали: справедливо, что тут возразишь...

...Впереди, чуть ниже, шла девятка самолетов первой эскадрильи, и фонари их кабин поблескивали под косыми лучами утреннего солнца. Облачность неожиданно оборвалась, точно обрезанная ножом, самолеты первой девятки исчезли из вида на пестром фоне земли, только тени от них бежали по зеленеющим полям.

— Как идем? — повернулась Женя к своему штурману Вале Кравченко.— Прилетим вовремя?

— Нормально,— ответила Валя, отмечая что-то на карте.— Кажется, уклоняемся немного от курса, за Доном исправим.

Справа по курсу вдруг вздухло серовато-белое облачко разрыва зенитного снаряда, потом второе, третье...

— Они белены, что ли, объелись! По своим бьют, растяпы,— чуть окая, скороговоркой сказала Женя, следя за плывущими рядом дымами разрывов.

— Наверно, зенитчики опять нас за Ме-110 приняли. Дай сигнал «свой самолет».

Действительно, некоторые зенитчики, прикрывавшие тыловые объекты, еще мало знали самолет Пе-2 и принимали его за немецкий Ме-110. «Пешка» по своим очертаниям была похожа на него, да и гул моторов смахивал на гул чужих самолетов.

Женя качнула крылом вправо раз, другой. Разрывов больше не стало, видно, на земле поняли свою ошибку.

Внизу, перечеркивая блестящей лентой горизонт, показался Дон. Станицы, нанизанные на его берега, стояли в белом тумане цветущих садов. Все эти места, проплывавшие под самолетом и дальше на юг, до самых отрогов Кавказского хребта, были знакомы Жене. Несколько лет перед началом войны она работала инструктором в школе «слепых полетов» Гражданского Воздушного Флота в городе Минеральные Воды. Облетала этот район сотни раз, могла вести самолет здесь без карты, в любую погоду. Родные места... Только летела она сегодня на фронт.

«Вот и хлеб посеяли...— подумалось Жене, когда за Доном показались полосы хлебных полей.— Только отгремели бои, а хлеб уже в колос пошел. Хорошо..» И она вдруг явственно почувствовала запах цветущего хлебного поля, чуть пыльный хлебный запах, знакомый с детства, с тех пор, как она себя помнила.

...Холщовая сумка, перекинутая через плечо, била по коленям, Женя шла следом за матерью, подбирая оставшиеся после покоса колоски. Колкое жнивье больно ранило ступни, и она старалась ставить ноги между рядками. Ногам горячо от нагретой земли, пахло хлебом и солнцем, где-то в вышине звенел жаворонок... Невдалеке, на берегу запутанной речки Колокши, виднелись почерневшие крыши домов небольшой деревушки Пьянцино. За деревней начинался лес, темный и таинственный.

Отец Жени, как почти все взрослые мужчины их деревни, с малых лет работал на ткацкой фабрике в Иваново. Он появлялся дома только по праздникам, и тогда за столом усаживалась вся большая семья. Во главе стола сидел дед Егор Иванович, и все шестнадцать человек внимательно следили за тем, чтобы чья-либо рука не потянулась к огромной миске со щами раньше, чем было положено по заведенному порядку.

— Таскать! — негромко говорил дед, и шестнадцать ложек одна за другой осторожно доставали со дна миски крошечные кусочки мяса. Иногда Жене удавалось из-под руки матери незаметно, как ей казалось, выхватить кусочек раньше других, но тут следовал грозный окрик деда:

— Положь на место, толсто́й пузырь! Постарше тебя есть!

И Женя покорно несла ложку обратно.

Отец вернулся с империалистической войны контуженным и раненым. Но в бурные месяцы революции ушел добровольцем в отряд милиции, воевал с белобандитами на Украине. А когда возвратился, опять стал работать на фабрике.

Однажды он шел домой по проселку, петлявшему между желтеющих полей, часто останавливаясь, чтобы унять донимавшую его одышку. Невдалеке, среди поля, он неожиданно увидел маленькую, коренастую фигурку. Круглое скуластое лицо раскраснелось от зноя, редкие кустики бровей хмурились от напряжения. Девочка неумело взмахивала косой и приговаривала про себя:

— Жми на «пятку»., жми на «пятку»...

Он узнал в девочке дочку, сел у края межи и заплакал. Вспомнил, как учил Женю косить, как вот так же приговаривал «жми на «пятку», а дочка все никак не могла понять, что «пятка» — это у косы, и все притоптывала ногой.

— Батяня?! — оглянулась Женя.— Ты чего это? Что так рано приехал?

— Совсем занемог я, дочка. Доктор сказал: отдохнуть надо... А помощников у меня ты одна, старшая. Что без меня делать с матерью будете да с малыми ребятишками?

— Я крепкая, выдержу.— Женя сдула капли пота, щекотавшие губы.— Ты, батяня, не тревожься.

— Учиться тебе надо, вот что. Теперь без учения нельзя. А ты вот машешь косой вместо меня.

Отец настоял на своем. Осенью уехала Женя в Юрьев-Польский в няньки. Там и училась. По ут-

рам бежала в школу, пока хозяйка была дома, а после занятий сидела с детьми. Ставила хозяйка чугунок с похлебкой в печь и уходила на фабрику. Женя приглядывала за малышами и урывками учила уроки.

По вечерам, переделав домашние дела, укачивая самого маленького, она читала остальным тоненькую книжку, которую получила вместе с башмаками к Новому году.

— «Купила мать Миньке новую рубаху, с малыми ребятами гулять пустила»...

Так прошло три года. Окончила Женя школу, получила от хозяев пальто за работу и уехала в Иваново. Ей хотелось попасть на ту же фабрику, где работал отец, но стояло трудное время, работы на фабриках не было. Несколько месяцев подряд приходила Женя на биржу труда, выстаивала длинную очередь с рассвета до темноты, да так и уходила ни с чем.

Однажды, когда очередь разошлась, Женя осталась у крыльца дома. «Не пойду отсюда,— решила она,— буду сидеть, пока не дадут какой-нибудь работы. Жить у дяди «на хлебах» стыдно уже, хоть и не попрекают бездельем, и с ребятами вожусь, и по дому...»

Она постояла немного, потом решительно постучала в фанерное окошко.

— Тебе чего? — Фанерка отодвинулась, и она увидела заведующего биржей труда.

— Работу жду,— сердито ответила Женя.

— Нет сегодня работы.

— А я вот сяду здесь и буду сидеть.— Женя решительно уселась на ступеньки крылечка.— Мне работать надо, который месяц хожу сюда,— продолжала она,— а ты все завтра да завтра...

Заведующий посмотрел на нее с любопытством.

— Ишь ты какая! Упрямая, видать, девка. Ну, вот что, я правду говорю. Фабрику начинаем строить, новую. Что делать умеешь?

— Все умею,— еще не веря его словам, ответила Женя. Неужто она нашла работу? — Где хошь буду работать.

— Вот и приходи завтра. А как фабрику построим, учиться станешь, станок дадим.

Женя бежала домой, не чуя под собой ног. У нее есть теперь работа! «А с получки племянникам гостинцы буду приносить,— весело думала Женя, шлепая по лужам,— и в деревню поеду, вот батяня обрадуется!»

На стройке фабрики Женя действительно делала все: копала ямы под фундамент, месила глину, таскала доски. А через год стала Женя у прядильной машины. Среди работниц она была самой грамотной — как-никак окончила семь классов,— вступила в комсомол, и ее выбрали комсоргом цеха. Прошел еще год, и однажды, придя домой, Женя бережно положила на стол красную книжечку с надписью: ВКП(б).

— Хвалю... хвалю...,— поглаживая усы, сказал дядя и, расстегнув грудной карман, вынул и положил рядом на стол свой партбилет.

— Теперь в доме у нас двое партийных. Слышь, мать,— повернулся он к жене.— Очередь за тобой.

— И-и,— ответила та,— у меня вон она, партия.— Кивнула в сторону печи, с которой виднелись головы ребятишек.— Только в рот и носи.

...Как-то Женя зашла в завком по цеховым делам.

— Поедешь учиться, Тимофеева,— сказал секретарь. Он смотрел на нее таинственно и многозначительно.— На бюро решили: послать тебя. Получили,— он помахал бумажкой,— восемь путевок на город, и нам досталась одна. Думали, думали, и вот...

— Куда учиться?



Командир эскадрильи Евгения Тимофеева.

— На летчика. Будешь ты у нас первый летчик с фабрики — помнишь, как тот парень, что прилетал прошлым летом в город? И кожанку носить станешь.

— Подумаешь, тоже... Кожанку какую-то...— Женя растерялась от неожиданности, и у нее застыло сердце. Кто из девчонок втайне не мечтал в те дни о полетах как о чем-то необъяснимо необыкновенном?

— Так что ж, поедешь?

— А ты думал— откажусь?

Это было в 1931 году...

Мать всплеснула руками, когда Женя перед отъездом в Тамбовскую школу побывала в деревне.

— Куда еще? Работаешь ведь, что выдумала-то?!

А отец, задыхаясь и растирая грудь, говорил:

— Ай да Женька, ай да пузырь толсто́й! Молодец! Молчи, мать, подумай: летчиком Женька станет, а?

А старший племянник Жени решил все по-своему. К вечеру, когда Женя уже собралась уезжать, мать втащила его в избу за руки.

— Поглядите на него! Стоит у столба и копеечку просит! Стыдобушка на всю деревню, побирушка у Тимофеевых появился. Ты что удумал-то, горе мое великое?

— Копеечек соберу, Женька с нами останется, не поедет...— отворачиваясь от взглядов, шептал новоявленный побирушка.— Как без Женьки...

Сначала рассмеялась Женя. Потом, уразумев, в чем дело, закашлялся от смеха отец. Потом в избе смеялись уже все от мала до велика, а Женя, вытирая глаза, сказала:

— Ах ты, комарик... Я ведь учиться еду, не на заработки.

Иногда Жене казалось, будто бы и не она, замерзая в пальтишке на «рыбьем меху», заколов булавкой потертую юбчонку, залезала в кабину первого в своей жизни самолета.

«Что ты делаешь, телячьи твои глаза! — кричал ей инструктор Ян Кузин.— Это тебе не лопата!»

Будто и не она обморозила ноги в дырявых башмаках и голодала, ведь помощи из дому не было никакой, и тот же Ян принес ей однажды валенки. Вспоминала, как из семи девчонок осталась к концу выпуска только она одна, и инструктор, щелкнув

ее пальцем по носу, сказал: «Я из тебя летчика сделаю, будешь летать, как бог в Одессе!»

Где Одесса и какие там боги летают, Женя не знала, но овладеть летным искусством старалась изо всех сил. Что скажут на фабрике, если она тоже не выдержит и вернется ни с чем? «Выдюжу,— упрямо убеждала она сама себя.— Уж я-то выдюжу...»

— Профессия летчика не терпит полулюбви, она требует всего человека, всех его знаний, мыслей. Не любя, нельзя стать летчиком настоящим, не отдаваясь этому делу полностью, без остатка, без искреннего желания. Такая уж это профессия...— так говорил ей Ян Кузин.

Потом Женя сама стала инструктором. Теперь она не смогла бы сказать, сколько прошло через ее школу курсантов первоначального обучения, пилотажа и «слепых» полетов. Вон и командир первой эскадрильи, что идет по курсу впереди, Надежда Федутенко — ее ученица, и многие летчики, которые летят рядом с ней, старательно выдерживая интервалы в строю,— тоже ее ученики.

...Эскадрильи подлетали все ближе к фронту. Вдалеке показалась синяя лента Кубани с подступающими к ней темными контурами не то облаков, не то клубящихся вершин гор. Ведомые прижались еще теснее, а самолеты Клавы Фомичевой и Вали Матюхиной, идущие слева и справа, казалось, вот-вот заденут консолями крыльев самолет Жени.

— Хорошо идут, а? — кивнула головой в сторону самолетов Валя.

Женя оглянулась и сделала «свирепое» лицо, помахала кулаком им обеим. Потом заулыбалась и тихо сказала:

— Со-обаки...

«Собаки» — любимое слово Жени. Она произносила его не зло, даже весело, как и другое, придуманное ею самой — «клюндя». Точного значения этого слова в ее устах никто не знал, но смысл для всех нас был ясен: эх ты, растяпа, размазня.

— Вот со-обаки...— повторила Женя, и в ее голосе звучали нежность и снисходительность любящей матери к рано повзрослевшим детям.

— Что за кордебалет был в воздухе после взлета? — выговаривала Женя сердито, прохаживаясь вдоль выстроенной эскадрильи.— Ты что болталась в стороне, будто тебе было боязно к строю подойти? — остановилась она рядом с Валей.— Уж не ожидала от тебя!

— Так ведь, комэск, собрались вовремя...— раздался чей-то голос из второго ряда строя.

— Разговорчики!

В строю замолчали. Валя смотрела в сторону, пряча глаза.

У Жени плохое настроение. За день эскадрилье удалось сделать только один вылет, да и тот для нее вышел неудачным: после взлета пришлось сесть с бомбами на аэродром. Командир ничего не сказал ей, только посмотрел осуждающе, когда узнал об этом после возвращения с боевого задания. За ней начнут садиться с бомбами и другие летчики, а это не каждому и не всегда может сойти благополучно. Но Жене так не хотелось бросать пару пятисоток в болото —место, специально предназначенное для сброса бомб при вынужденной посадке. Бомб и так не хватало.

— Жалко,— сказала тогда она Вале, когда стрелка указателя оборотов правого мотора медленно стала откатываться налево.— Вылет у нас с тобой пропал. Придется возвращаться на аэродром.

— Сделай побольше заход, я бомбы сброшу.

— Погоди... Я попробую сесть. С ними столько провозились, пока подвешивали, да и таких бомб мало.

— Давай попробуем,— неуверенно ответила Валя.

Легко сказать: «Попробуем...» Тонна бомб да полные баки горючего... При «жесткой» посадке, малейшем толчке бомба может сорваться с замка, и тогда от них останутся одни воспоминания. Но...

— Выпускай шасси, буду садиться.

Четвертый разворот перед заходом на прямую она сделала подальше, чтобы моторами при необходимости «подтянуть» самолет. Колеса коснулись земли почти неслышно, и машина, плавно покачиваясь, побежала вдоль полосы. Валя с тревожным ожиданием смотрела назад: вдруг мелькнет позади самолета блестящее тело сорвавшейся бомбы.

— Порядок...— сказала Женя и подрулила к опустевшим стоянкам.— Как бог в Одессе...

Но настроение было все же испорчено: эскадрилья ушла на боевой вылет без командира, да и при сборе над аэродромом получилось не все точно: на маршрут группа ушла не таким плотным строем, как бы хотелось Жене.

— Держаться надо от взлета до посадки,—заправляя выгоревшую на солнце прядь под пилотку, продолжала перед строем Женя.— Тебя, Валя, уже раз сбили, дождешься второго. Все,— словно подводя черту, заключила Женя.— Разойтись по самолетам и готовиться к завтрашнему вылету. Боевая задача уже получена.

Майское небо раскаленным куполом висело над аэродромом. Редкие дожди едва смачивали пожухшую траву. Экипажи расходились по машинам. Кое-кто, оглядываясь на комэска, сворачивал к дощатому сарайчику, где всегда продавали молоко. Молоко к вечеру скисало на жаре, но и любителей простокваши было достаточно. После зимних полуголодных дней это было единственным лакомством, в котором мы себе не могли отказать.

— Телята...— усмехаясь, сказала Женя.— Пойдем и мы с тобой заглянем туда?

— Пойдем,— ответила Валя.— Вылетали, не поев как следует. А вылет был жарким.

Жарким был не только этот вылет. Весь май полк бомбил укрепленные пункты «Голубой линии» — станицы Киевскую, Крымскую, Неберджаевскую. Летали сравнительно спокойно, надежно охраняемые истребителями сопровождения. За месяц боев у нас не было потерь, кроме подбитого самолета Вали, но редкий вылет проходил без воздушного боя с истребителями противника. «Мессеры» висели на разных высотах в районе целей и вдоль линии фронта с зари до темноты.

5

Уже с рассвета было ясно, что день будет жарким, как и все предыдущие дни. Над неостывшими за короткую ночь моторами колыхался горячий воздух. Обе эскадрильи ушли в боевой вылет. Цель оставалась старой: несколько дней мы бомбили долговременные укрепления у станицы Крымской.

Полковая колонна из двух эскадрилий шла по знакомому маршруту, изредка уклоняясь так, чтобы солнце оставалось позади строя. Оно помогало нам: в слепящих его лучах можно было подойти к цели незаметно. Женя шла справа от командира полка и должна была, как заместитель, в любую минуту заменить его, если по каким-то причинам он выйдет из строя. И хотя до этого момента ее роль огра-

ничивалась ролью обычного ведомого, она внимательно следила за всеми маневрами командира полка. Училась и запоминала.

Вот он чуть сбавил скорость — впереди по курсу заметались огненные трассы «эрликонов», повисли на бледно-голубом небе ватные облачка разрывов орудий среднего калибра. Самолет командира скользнул вправо, и строй послушно и легко повторил его маневр.

«Вот как надо. Ни позже, ни раньше. И спокойно. А бомбит он здорово...» — вдруг вспомнила Женя.

Несколько дней назад, когда в боевой работе был перерыв — ждали бомбы и горючее,— командование приказало провести учебный вылет: командиры всех полков соединения должны были сами произвести бомбометание на полигоне. Майор полетел в качестве штурмана с Женей.

— Что, Евгения Дмитриевна,— говорил командир перед вылетом,— справимся? Не посрамим земли русской?

— Не посрамим, товарищ командир, дух вон — но на боевом курсе выдержу режим полета до метра.

И действительно, за это учебное бомбометание командир получил от командования соединения золотые часы — награду. Все три бомбы попали точно в круг полигона.

...— Боевой курс! — прервал ход мыслей Жени возглас Вали Кравченко. Но уже за несколько секунд до того, как она услышала слова команды, по тому, как словно замер самолет командира, Женя поняла: встали на курс к цели. Теперь главное: скорость, высота, компас. Не смотреть, как рвутся снаряды, не видеть кружащихся неподалеку истребителей. Руки на штурвале и секторах газа почти интуитивно удерживали машину метрах в десяти от ведущего самолета. Иногда, мельком, она замечала выскочившие из-под строя пары «мессеров». Женя узнавала их по прямым, словно обрубленным крыльям, но взгляд ее снова цеплялся за крыло самолета командира, с заплаткой на старой пробоине у самого конца.

Раз! Раскрылись под фюзеляжем бомболюки, и почти сразу, как показалось Жене, медленно, словно нехотя, вывалились из люков бомбы.

— Бомбы! — отрывисто скомандовала Женя.

— Вижу! Пошел! — откликнулась Валя. В наушниках шлемофона голос ее прозвучал тоненько, почти по-детски.

После возвращения и посадки, когда на самолеты спешно подвешивались бомбы для второго вылета, а летный состав уточнял расположение новых целей, командир полка отвел Женю в сторону.

— Ну, Евгения Дмитриевна, теперь поведешь группу ты. Пойдет только одна «девятка». После первого вылета восемь самолетов с повреждениями, кроме одного запасного, больше машин нет.

Женя ждала этого момента: вести самой свою эскадрилью. Но так неожиданно!.. До сих пор командир летал ведущим группы сам. А вот теперь она будет на его месте. Справится ли она? Как сложится обстановка в воздухе над линией фронта и над целью?

— Тебе все понятно?

— Да, товарищ командир.

— Главное — строй. Помни об этом. Имей в виду и то, что погода может измениться, в облака не лезь, растеряешь группу.

— Понятно.

— С тобой полетит старший штурман Никитин,— добавил командир.

— Отвечать-то за выполнение задания мне. Разрешите собрать летчиков.

— Ненадолго, скоро вылет.

После короткого инструктажа о характере цели Женя медленно, заложив руки за спину и чуть косолапя, пошла вдоль строя.

— Кому что не ясно в задании? Запасные аэродромы и площадки для вынужденных посадок знаете?

— Знаем, давно наизусть выучили, товарищ комэск,— раздались в строю голоса.— Первый раз, что ли...

— Ишь ты! Храбрые какие! Хоть в двадцатый, а в любую минуту надо знать, куда посадить подбитый самолет. Это первое. А во-вторых, еще раз напоминаю: строй и строй. В первом вылете,— она взглянула на одну из летчиц,— какой у тебя интервал был над линией фронта?

— Два размаха на две длины.

— Плохо считаешь. Ты плелась в пятидесяти метрах.

— Так это же недолго, всего минуту, может быть. Болтало здорово,—пыталась та оправдаться.

— Держаться в строю надо от взлета до посадки. Взмокнешь, а держись, взрывом швыряет — держись, болтает — все равно держись. Понятно? Кто не может или не хочет выполнять этот закон, от полетов на боевой вылет будет отстранен.

Женя не переставала удивляться действенности придуманного ею наказания. Даже не самого наказания — отстранение от вылетов еще ни разу не применялось,— просто угрозы применить его. Казалось бы: не лететь на боевое задание — это не видеть сверкающих огненных стрел трассирующих пулеметных очередей «мессеров», очередей, которые в одно мгновение могут «прошить» самолет, и он огненным факелом пойдет вниз, к земле. Не чувствовать запаха порохового дыма, волнами заполняющего кабину, не слушать, как самолет вздрагивает под осколками снарядов.

Не лететь на боевое задание — это лишний шанс остаться в живых. Наконец, это просто отдых от жесточайшего нервного и физического напряжения, которое испытывает летчик в боевом вылете.

А все же, не было горше и суровее наказания для девушек, как замечала Женя, чем отстранение от полета. Видеть глаза друзей, отправляющихся в бой, разгоряченные лица после посадки, слышать шумные комментарии вылета и чувствовать, что ты не сделала сегодня главного, для чего ты здесь, на фронте. Что лишняя тонна бомб осталась неиспользованной по твоей вине, а может быть, именно она, эта твоя бомба, была бы решающей в вылете!

Ощущать сдержанность подруг, с которыми ты не разделила минуты смертельной опасности, отгородилась от нее своею слабостью или неумением — все это было тем главным — Женя хорошо это поняла,—что заставляло летчиков перешагивать даже физические возможности.

— По машинам! Запуск моторов и выруливание по ракете, не копаться, взлетать будем звеньями, по три самолета.

К полудню с отрогов Кавказского хребта поползли облака, и уже на маршруте Жене пришлось вести свою группу значительно ниже, чем указывалось в боевом приказе. Она чувствовала досаду и тревогу оттого, что условия с самого начала полета усложнялись. Бомбить из-за облаков, если даже будут над целью «окна», бессмысленно и опас-

но: можно попасть по своим войскам, уж очень близко к передовой были цели для бомбометания. Оставался один выход: снижаться и идти под облаками. Но какая высота будет над целью? Сумеют ли они отбомбиться или придется возвращаться домой с бомбами?

Облачность прижимала к земле. Женя плавно ввела самолет в разворот и начала снижаться. Капли дождя заструились по стеклу кабины, гул моторов стал глуше. Группа рассредоточилась, слева и справа мелькали в космах облачности ведомые самолеты. Впереди по курсу облачность спускалась еще ниже, заволакивая дождем подножье гор.

— Ты, Тимофеева, не волнуйся,— сказал, наклонясь к прицелу и замеряя направление ветра, штурман Никитин.— Буду делать расчеты на бомбометание с планирования.

— С чего ты взял, что я волнуюсь? — Женя сама не заметила, как назвала старшего штурмана на «ты».— Думаю, как уходить будем. Кромка облаков пристреляна зенитками, нельзя вверх. Уходить со снижением — высоты мало, да и на своих бомбах подорваться можно. Сам предупреждал... Обстановка!..— тихо протянула Женя со вздохом.— Хуже некуда.

Она не могла предположить, что воздушная обстановка только начинает осложняться, что самое сложное будет впереди, когда понадобится вся ее выдержка и опыт.

По расчету времени группа уже подлетала к линии фронта. Женя уселась поудобнее, натянула потуже перчатки — даже в жаркую погоду она их не снимала. Оглянулась назад, проверяя, как идут ведомые. Самолеты шли плотно, едва не касаясь консолями крыльев. Справа шло звено Маши Долиной — три самолета. Они шли чуть ниже, приготовясь к развороту на цель. Ведомые Маши — двое «галоидов» Тоня Скобликова и Маша Кириллова — старательно выдерживали интервалы и превышение.

«Хорошо держатся,— подумала Женя,— вот так бы над целью...»

Впереди уже были видны огненные полосы, несущиеся с земли: стреляли скорострельные пушки. Женя прикидывала, как бы провести группу между ними, но на такой высоте с земли будет стрелять все, что может стрелять, и она повела эскадрилью с плавным разворотом так, чтобы на боевой курс — прямую перед целью — осталось минимальное время, только то, которое необходимо для прицеливания.

Она еще раз оглянулась: необычная пустота в воздухе вокруг самолетов эскадрильи заставила ее насторожиться. И вдруг она поняла: ни справа, ни слева вокруг эскадрильи она не заметила ни одного нашего истребителя, хотя еще несколько минут назад, перед входом в облака, они кружились рядом, иногда выскакивая впереди ее самолета, и, перевернувшись в «петле» или «бочке», снова уходили под строй.

— Наши истребители позади, что ли? — спросила она штурмана.

Никитин приподнялся от прицела и оглянулся назад.

— Наверно, ввязались в бой и отстали,— предположил он.— Будем надеяться, что догонят группу. Ты не волнуйся, Евгения Дмитриевна. Не могут они оставить бомбардировщики без прикрытия.

— Что ты меня все успокаиваешь?! Не волнуйся, не волнуйся... С чего ты взял? — Она сильно нажала кнопку вызова стрелка-радиста.

— Слушаю...— раздался в наушниках голос.

— Всем экипажам: не отставать ни на метр. При выходе подбитого самолета из строя его место немедленно занимает другой.

— Передаю.

Линия фронта дала о себе знать вспыхнувшим вдруг со всех сторон огнем. Снаряды рвались вокруг строя, словно нащупывая тот момент, когда ахнувший взрыв превратит самолет в груду охваченных пламенем обломков. Светящиеся, такие безобидные издалека шарики «эрликонов» цепочкой неслись навстречу. Женя маневрировала, уходя то чуть вверх, под облачность, внезапно отворачивала то вправо, то влево, старалась проскользнуть в редкие просветы между разрывами. Ее внимание было настолько занято маневром, что она сначала не поняла, о чем докладывает радист.

— Что у тебя? — переспросила она его.

— Группу атакуют восемь Ме-109! — услышала Женя.

«Ну, вот и началось... Все сразу. И истребителей наших нет, и уйти некуда, на себя только и рассчитывай... Сейчас «мессеры» начнут строй разгонять, а потом по-одному сбивать. А тогда конец, немногие вернутся домой...» Сейчас она не могла ни подсказать, ни помочь. В горячке воздушного боя ее команды могли запоздать, все сейчас решали секунды. Она надеялась, что опыт прошлых боев, ее бесконечные наставления помогут выстоять ее девчонкам. Но где-то внутри росло беспокойство, заставляющее оглядываться по сторонам, чтобы убедиться в том, что все самолеты идут на своих местах.

— Хорошо держатся,— доложил штурман.— Пока я веду огонь, придерживайся курса,— он взглянул на компас и назвал курс.— Можешь маневрировать еще минуты две-три. Потом станем на «боевой».

Женя не видела атак вражеских истребителей, «мессера» заходили сзади, атакуя «девятку» сверху и снизу. Они старались подойти к группе так, чтобы попасть строго в хвост самолета, в «мертвый конус», где их не мог достать пулеметный огонь штурманов и стрелков-радистов. Женя помнила об этой тактике и, отворачивая самолет то вправо, то влево, чуть «задирала» нос машины, или вдруг легко, на несколько секунд переводила ее в снижение. Только так она могла сейчас помочь своим ведомым.

— Где самолеты? — отрывисто спросила Женя.— Скобликова на месте?

Тоне Скобликовой тяжелее всех. Она идет в строю самой крайней — внешней ведомой. Стоит ей чуть замешкаться на развороте — и она отстанет от группы. Пусть на короткое время, но этого будет достаточно, когда атакует столько «мессеров».

— Все в строю,— сквозь дробь пулеметной очереди услышала Женя голос штурмана.— Скобликова на месте. На самолете Федотовой бьет бензин.

«Уже,— подумала Женя с горечью.— Быстро они начали...»

Беда не в том, что бьет бензин, хотя само по себе это большая неприятность. Беда в том, что самолет мог вспыхнуть в любую секунду, а Кате надо продержаться еще минут десять. Она не может выйти из строя, ей надо отбомбиться, да и обороняться от атак «мессеров» легче рядом с друзьями.

Женя снова оглянулась, но самолеты, следуя ее маневру, то опускались, то поднимались, как на невидимых волнах, и она не увидела самолет Кати.

— Где Федотова?

— Держится,— донесся бесстрастный голос штурмана.

«А я на днях Тоню Хохлову, стрелка-радиста Кати, отчитывала,— вспомнила вдруг Женя.— Наелась где-то ягод тутовника, и у нее язык распух. Так и

надо, сказала я ей тогда, болтать меньше будешь... Вот клюндя я, и зачем ругала... им-то вон как нелегко приходится...»

— На самолете Долиной горит правый мотор,— услышала она опять голос штурмана.— Мы сбили два «мессера». Атакуют снова.

— У Маши?!

Но штурман уже приник к прицелу. Группа выходила на боевой курс. Жене хотелось спросить штурмана о Маше, но прозвучала его команда:

— Боевой! Курс 282!

Теперь Женя не сможет уже ни оглянуться, ни спросить штурмана о ведомых: она не сможет помочь и стрелкам: она должна выдержать режим бомбометания. Никаких маневров, никакого спуска или набора высоты. Стрелки приборов должны стоять неподвижно.

«Лево пять градусов! Еще чуть-чуть! Так держать! Так держать»,— говорила она сама себе, стараясь отогнать мысли о Маше и Кате. Еще две-три минуты, и Женя сможет опять маневрировать. Если бы девчонки выдержали эти минуты в строю! Горят ведь! Не струсят ли и, бросив машину вниз, помчатся к земле, к линии фронта? Что с ними будет?

Она не могла ни повернуться, чтобы увидеть, самолеты, ни спросить о них штурмана: его нельзя сейчас отвлекать, он у прицела и тоже не видит идущих позади ведомых.

Впереди справа, почти рядом с ее самолетом, мелькнул Ме-109, и Женя в одно мгновение увидела черные кресты на обрубленных крыльях и пригнувшуюся фигуру летчика. Черный дым бил снизу самолета.

«Еще один горит!» — хотелось ей крикнуть. На носу и на верхней губе выступили капли пота, стекали вниз по подбородку. Было неприятно и щекотно, но она не смела даже тряхнуть головой, чтобы сбросить их. Внизу мелькали обрывки облаков, квадратики станицы медленно ползли по красной курсовой черте, проведенной по прозрачному полу кабины.

Почти рядом с консолью левого крыла рванулся снаряд. Черный дым смешался с набежавшей облачностью, в кабину пахнуло порохом, и у Жени запершило в горле.

«Скоро ли? Что-то сегодня, как никогда, долго мы летим на боевом курсе... Или мне кажется?»

Она раньше почувствовала, прежде чем услышала, команду штурмана. Самолет легко подбросило вверх на несколько метров.

— Бомбы сбросили! Фотографирую!

Еще минута... Долгая, как осенний тоскливый день...

— Как ведомые? — не выдержала Женя.

— На местах,— оглянулся на мгновение штурман.—Все на местах.

Высотомер показывал шестьсот метров. «Только бы не растерялись... Еще немного, и они могут выйти из строя. Успеет ли выпрыгнуть экипаж Маши с парашютами? Или попытаются сесть?» Женя не думала сейчас о себе, о том, что и она в любую минуту тоже может быть прошита пулеметной очередью. Такая мысль просто не приходила ей в голову. Ей хотелось крикнуть девчонкам: «Держитесь!»,— может быть, даже погрозить кулаком, они ведь все смотрят сейчас только на ее самолет и видят ее, но Женя машинально продолжала следить за стрелками приборов, едва осознавая, как нестерпимо ноют плечи.

Атаки истребителей продолжались. Из облачности вывалилась еще одна группа «мессеров», они замелькали совсем рядом, словно иглами прокалывая строй эскадрильи со всех сторон.

— Сколько же их всех?!

— Не знаю, много...

— Конец режима! — добавил штурман.— Разворот!

Женя облегченно вздохнула. Теперь ей не нужно было держать свое внимание только на приборах, и она оглянулась впервые за эти тяжелые минуты. Справа она увидела самолет Маши Долиной. На ее машине горели уже оба мотора. Зловещее пламя било снизу, охватывая фюзеляж, неслось огненной струей к хвосту самолета. Рядом с ней, прижавшись, летел самолет Тони Скобликовой, позади него тянулась прозрачная полоса: выливался бензин из пробитого бака.

Женя уменьшила скорость. Стрелка на приборе уперлась в отметку 300. Меньше нельзя. Но и это облегчит летчикам подбитых машин полет в строю. Почти незаметно, с небольшим креном ввела она свой самолет в разворот, то уменьшая скорость, то чуть выходила вперед, сама подстраивалась к ведомым. Слева дымил самолет Ольги Шолоховой, дальше, рядом с ней, за машиной Кати Федотовой тоже тянулась белая полоса. Бил ли это бензин или стлался дым позади, Женя не смогла разглядеть. У нее заныло сердце. Четыре экипажа!

«Сгорят! Если пламя на самолете Маши перекинется на перкалевые рули глубины, машина станет неуправляемой. Тогда экипажу не выбраться!»

Все еще оглядываясь, она переключила переговорочное устройство и вызвала радиста. В наушниках шлемофона зазвучал тревожный сигнал.

— Передай Долиной: немедленно выйти из строя, экипажу покинуть самолет на парашютах!

Линия фронта прошла внизу, и через несколько секунд Женя под своим самолетом через прозрачный пол увидела горящий самолет Маши. «Мессеры» продолжали атаковать его. Почти вслед за Машей вышли из строя Катя Федотова и Тоня Скобликова, а через несколько секунд самолет Ольги Шолоховой, качнув крылом, резко ушел под строй. Только пять оставшихся самолетов продолжали лететь рядом, все так же тесно прижавшись друг к другу.

Облака по-прежнему давили к земле скучным, серым покрывалом. Мелькали внизу потемневшие поля и овраги. Только слева, почти касаясь земли, плыла раздутая темная туча. Женя молчала. На доклад штурмана о том, что задание выполнено и бомбы легли точно в цель, едва кивнула головой.

«Наверное, я не справилась как ведущий,— с тоской думала она.— Потерять в одном воздушном бою четыре самолета! А может быть, и четыре экипажа! Такого в полку еще не было...»

Женя почти не сомневалась, что потеряла все четыре машины: найти подходящую площадку, а в лучшем случае выйти на один из прифронтовых аэродромов, не растеряться и посадить подбитые или горящие машины было делом нелегким даже для опытных летчиков, много летавших. А ее девчонки...

«Хоть бы живы остались... Катя... Маша... Маше хуже всех, не выпрыгнут на такой высоте, не успеют...»

Моторы уныло и надрывно гудели в тон ее мыслям. И вдруг совершенно неожиданно всплыли в памяти строчки из письма, которое она получила утром. Тогда, занятая подготовкой к вылету, она только бегло просмотрела его. А теперь последняя строка, написанная детскими каракулями, кричала каждой буквой: «Мама, я тебя любу!..»

Женя отвернулась, чтобы штурман не увидел ее глаза.

6

Когда самолет снова подбросило, Катя Федотова не обратила на это внимания. Она шла так близко от командира звена, что оглядываться по сторонам не имела ни малейшей возможности: того и гляди врежешься в другой самолет. Она прислушивалась только к гулу моторов, но моторы тянули ровно и сильно, и волноваться не было причины. Не запоздать бы только с командой, когда откроются люки на ведущей машине. Позади нее раздавались пулеметные очереди: штурман Клара Дубкова стреляла почти без перерыва.

— Кать! — раздался голос стрелка-радиста Тони Хохловой, или, как звали ее по-свойски, Тоши — «начальника хвостового оперения».

— Какая еще Катя? Сколько раз тебе говорить, как обращаться в полете?

Тоша даже поперхнулась от непривычно-резкого тона командира. Через несколько секунд она доложила снова:

— Товарищ командир! Бензин бьет!

— Откуда? Из-под мотора или с плоскости?

— С левой плоскости, сильно...

— К тебе в кабину не забивает?

— Пока нет.

— Ладно, следи. «Мессеры» наседают?

— Откуда только берутся...— сквозь треск разрядов услышала Катя в наушниках шлемофона. Взгляд ее скользнул по приборной доске: стрелка бензиномера тихонько скатывалась влево.

«Хватило бы только до посадки, а так — что ж...»

Самолет снова подбросило, и Катя почти повисла над соседним самолетом. Она чуть отвернула и убрала скорость, «втискиваясь» снова в строй. На машине ведущего уже были открыты люки.

— Эй, штурман! — крикнула она Кларе.— Приготовься, люки открыты.— И почти сразу добавила: — Бомбы!

— Присматривай аэродром,— сказала Катя, когда штурман поспешно закрывала люки после бомбометания.— Сразу за линией фронта будем садиться.— А про себя подумала: «Уйду от «мессеров», обману как-нибудь».

Среди летчиков Катя выделялась прямолинейностью суждений и особенной независимостью, неунывающим характером. Она и летала так: легко и весело, словно каждый полет доставлял ей огромное удовольствие. Небольшие синие глаза смотрели всегда с озорным любопытством. Но эта «легкость» совсем не говорила о легкомыслии, небрежности. Это была легкость мастерства. В ее летной книжке, после многочисленных проверок техники пилотирования командиром эскадрильи, стояли одни «пятерки», и Женя, скупая на похвалу, нередко говорила: «Молодец! Летаешь, как бог в Одессе!».

Когда Тоша передала команду выйти из строя, Катя немного помедлила и, увидев, что истребители, после очередной атаки, ушли вверх, резко перешла в пикирование, имитируя сбитый самолет. Машину она вывела почти у самой земли.

— Клара, аэродром давай! А то в поле придется садиться!

— Правее по курсу должна быть площадка для истребителей. Может быть, дотянем.— Прищурившись, вглядывалась Клара в мелькающую внизу землю.— Давали ее нам как запасной аэродром, значит, по длине должна годиться для нашей «пешки».

— Дотянем на самолюбии... Не забудь открыть кран кольцевания.

В том, что она посадит самолет, Катя ни капли не сомневалась. Пусть только площадка будет хоть чуть-чуть приспособлена для посадки самолетов такого типа. В крайнем случае развернется в конце пробега на сто восемьдесят градусов, шасси выдержат, да и тормоза на машине сильные...

— Площадку видишь? — спросила Клара, пригнувшись и нащупывая кран кольцевания.— Вон, «Яки» взлетают.

— Вижу... Тоша, передай на землю, чтобы полосу не занимали... Уходить на второй «круг» не буду. Как ты там? Не заливает?

— Ничего...— ответила Тоша.— Течет помаленьку... Садись.

Самолет выскочил под углом к аэродрому. Катя сделала «горку», чтобы набрать немного высоты, для расчета на посадку.

Аэродром истребителей — узкая укатанная полоска с замаскированными ветвями «Яками» с одной стороны поля и кучкой домов хутора, огороженных плетнями, у дальнего конца,— мелькнул внизу, и Катя даже на глаз не смогла определить длину полосы, но она увидела овраг там, где кончался аэродром.

— Ну, братцы, держись, идем на посадку. Авось, не «промажем», не то окажемся в овраге.

Она не стала делать положенной коробочки для расчета на посадку, а, круто «срезав» на вираже угол четвертого разворота, вышла на «прямую». Катя рассчитывала сесть у самого начала полосы, не у посадочного знака, а гораздо ближе, чтобы иметь хоть небольшой запас для пробега самолета после посадки.

Край плетня, по которому Катя выдерживала направление, бежал навстречу. И вдруг из-за дома показался тягач. Он медленно выезжал наперерез самолету.

— Катя, справа трактор! — крикнула Клара.— Осторожнее!

— А-а... Дьявол его возьми! Откуда взялся?

«Успею раньше него на полосу или нет? Успею!» — решила Катя.

За крылом самолета она не видела тракториста, бросившегося ничком в траву. Колеса самолета прошуршали по земле, самолет бежал, подпрыгивая на кочковатой полосе.

— Тормози, Катя,— сказала Клара,— овраг впереди.

— Я помню.

Когда самолет закончил пробег, стрелка бензиномера лежала на ноле.

— Вовремя мы плюхнулись,— сказала Катя, заруливая в сторону.— Второй круг не вышел бы у нас. Повезло...

Она остановила самолет рядом с замаскированным «Яком».

Никто не бежал, чтобы узнать, чей самолет приземлился: мало ли садится машин, передовая совсем рядом.

Катя тоже не торопилась разыскивать командный пункт, надо было просто передохнуть, прийти в себя после полета.

— Вылезай, братцы, на родную землю, будем считать пробоины.

Едва Катя, Клара и Тоша вылезли из своих кабин, как шум идущего на посадку самолета привлек их внимание.

Это тоже была «пешка». Она приземлилась так же, как и Катя, гораздо ближе посадочных знаков. Струя бензина тянулась далеко позади самолета.

— А ведь это Тоня Скобликова! Эй, давай сюда! Мы здесь! — закричала радостно Катя, размахивая руками.

Тоня, конечно, не слышала криков Кати, но, заметив стоящую неподалеку «пешку», подрулила к ним, недоумевая, что за танец дикарей отплясывают, взявшись за руки, трое у самолета.

Тоню и ее штурмана Анку Кезину едва не вытащили за ноги из кабины.

— Дайте отдышаться! — взмолилась Тоня.— Руки отваливаются...

Небольшого роста, пухленькая Тоня, ласково прозванная «пончиком», была удивительно спокойной и рассудительной в любых случаях — будь это разбор полетов или воздушный бой. Она всегда все помнила и примечала, даже, казалось, самые незначительные моменты боя.

— Я видела, ты с Машей пошла рядом,— сказала Катя, когда, сняв парашюты, все уселись под самолетом.— Не заметила, где она села?

— Мы шли вместе, потом она пошла вниз, наверно, садиться будет, прыгать им уже нельзя было — высота метров триста, а кругом «мессеры», расстреляли бы. Их самолет сильно горел, успели бы... сесть.

— Носов не вешать и глядеть вперед!— шутливо пропела Катя.— Лишь бы площадка подходящая попалась, а уж Маша Долина приземлится, будьте уверены.

— Если успеет...— заметила Тоня.— Ну, что ж? Ремонтировать сами будем машины? У тебя что случилось?

— Двадцать две пробоины Тоша насчитала. Левый бензобак пробит.

— У меня тоже, по-видимому. Сейчас проверим. Если бензопроводы целы, можно заглушками отсоединить баки. А бензин залить только в центральный, хватит до дому долететь, а?

— Точно,— ответила Катя.— Тоша, давай-ка поищи подходящие деревяшки, пока мы вскроем с Тоней плоскости и найдем пробоины.

Пока они вдвоем, сначала на самолете Кати, потом на Тониной машине, с помощью отвертки снимали листы обшивки на плоскостях, каждая из них старалась скрыть свою тревогу о Маше: Тоня — за немногословностью и той пунктуальностью, с которой она складывала вывернутые шурупы, Катя — под напускной оживленностью. Но от бодрого голоса Кати Тоне хотелось плакать.

Сегодня она первый раз в жизни видела, как горит самолет в воздухе. Тоня летела рядом и ничем не могла помочь подружке, с которой еще до войны начинали вместе летать в Херсонской школе пилотов. Тоня и полетела рядом с Машей, когда они вышли из строя, для того чтобы Маша видела: она не одна, Тоня прикроет ее огнем своих пулеметов какое-то время... Потом самолет Маши факелом понесся вниз... «Жалко девчонок,— вздыхая и смахивая слезы, чтобы никто из экипажа не заметил, грустно думала Тоня,—хоть бы успели сесть, пока самолет не взорвался, да и где садиться придется и как...»

— Не надо, Тоня, у меня самой на душе муторно...— Голос Кати звучал глухо, и в нем не было слышно недавней бодрости. Она ощупывала рукой вскрытый бензобак, прижавшись лицом к теплой обшивке крыла.—Подай-ка лучше заглушку. Кажется, бензопровод цел.— Катя вздохнула и сползла вниз на землю по скользкому крылу.



Экипаж самолета. Слева направо: штурман Галя Маркова, стрелок-радист Ваня Соленов, командир экипажа Маша Долина.

7

Голос стрелка-радиста заставил Машу оглянуться.

— Товарищ командир, правый мотор горит!

Радист Ваня Соленов говорил спокойно, по-волжски напирая на звук «о», так, словно докладывал о чем-то обычном, и Маша сразу не поняла: говорит ли он об их самолете или о чьем-то другом? Но, взглянув еще раз, увидела тонкую полоску дыма, потянувшуюся за правым крылом.

— Штурман, мотор горит...— сказала Маша.

Я слышала доклад радиста, но в это время на перекрестии прицела моего пулемета показался «мессер», и я не ответила Маше. Я стреляла длинными очередями, забыв о том, что надо беречь патроны, что бой только начался, не думала о горящем моторе и о том, что каждую секунду Маша может крикнуть мне:

— Куда садиться?

Перед выходом на боевой курс мы договорились с Машей, что она скомандует мне, когда откроются люки на самолете командира эскадрильи. Самой мне прицеливаться некогда: со всех сторон шли в атаку истребители противника. Снова длинная очередь... За темным силуэтом Ме-109 потянулся хвост дыма, потом мелькнуло пламя, и он, «штопоря», пошел к земле.

«Неужели попала?! Может быть, и не я, сейчас ве-

дут огонь все девчонки... Какая разница! — радовалась я.— Все-таки мы сбили одного!»

Я не могла заставить себя удержаться и стрелять короткими очередями, хотя чуаствовала, как перегрелся ствол пулемета. Вот из-за киля хвоста показался нос истребителя, я быстро развернула пулемет на турели, истребитель распластался по всей черте прицела. «Хорошо,— думала я,— уж теперь-то я тебя достану...» Пальцы нажали шершааую гашетку, но пулемет молчал.

С каждой секундой «мессер» в прицеле становился все больше и больше, мои пальцы с силой давили на спуск, но безрезультатно... Может быть, просто осечка? В растерянности я заглянула в прорезь патронного ящика, там блестели гильзы патронов. Торопливо дернула ручку перезарядки, она шла туго, и я почти повисла на ней. Наконец-то! Но я уже не успела дать очередь, истребитель ушел вниз, а из-под капота левого мотора поползли язычки пламени. Какое-то время я зааороженно смотрела на него, бросив пулемет.

— Люки! Люки!—услышала я голос Маши.—Что ты там мечтаешь!

Я не мечтала. Открыла люки, и тут смысл случившегося вдруг ясно представился мне: горели оба мотора...

Стало холодно, словно после стакана студеной воды. Бомбы еще в люках... Успеем ли?

— Ты видишь, Маша?

— Вижу... Стреляй.

Больше мы не говорили ни о чем. Мы сами еще не знали, что будем делать через пять — десять минут. Огонь на моторах словно отрезаил меня, теперь я стреляла короткими очередями, почти машинально отсчитывая расстояние по черточкам прицела: двести метров, сто пятьдесят... сто... Горел еще один истребитель, и я на мгновение оглянулась. Огонь гладкой струей срывался с крыльев и исчезал в клубах черного дыма. Успеем ли сбросить бомбы? Мне не терпелось поскорее сбросить их, словно освободиться от грозящей опасности, а другая опасность — горящий самолет—уходила из моего сознания.

Потом сбросила бомбы, когда услышала команду Маши, и снова кинулась к пулемету. Как в карусели, все вертелось перед глазами: сверкающие черточки трассирующих очередей, внезапно выскакивающие истребители сверху падали на строй, и на облачном сером небе ясно был виден огненный пунктир огня, земля внизу качалась и поднималась кверху, когда Маша глубоким креном удерживала самолет во время очередного взрыва зенитного снаряда, вспыхнувшего рядом.

Потом мой пулемет замолк. Напрасно я тянула ручку перезарядки: патронный ящик был пуст. Незакрепленный пулемет «ездил» по турели то вправо, то влево, но я не обращала на зто внимания. Теперь он был бесполезен.

— Будем садиться? — с надеждой спросила я Машу. Мне очень не хотелось прыгать аниз с парашютом в такую «кашу», где запросто нас расстреляли бы еще до приземления. Может быть, успеем? Маша взглянула на высотомер, потом на горящие моторы.

— Садиться. Приготовься и давай площадку.

Лицо у нее строгое и озабоченное. Во взгляде темных глаз — решимость и готовность. Нет и следа от той Маши-непоседы, которую я знала вот уже два года. Над нами мелькнули самолеты зскадрильи. Потом мы потеряли их из виду, только рядом вдруг оказалась машина Тони Скобликоаой.

— Уходи! Уходи! — махнула ей рукой Маша.

Нам видно лицо Тони. Она успокаивающе кивнула головой, потом с креном ушла в сторону и исчезла внизу.

Почти тотчас над левым крылом у нас' «повис» Ме-109. Маша попыталась уйти вниз, но он, как привязанный, следовал за нами, разглядывая и что-то показывая нам.

— Вот гад! Добивать сейчас будет,— зло бросила Маша и толчком отдала штурвал от себя: самолет вошел в пике. Но мы не могли сильно терять высоту: неизвестно, как долго придется искать место для посадки.

Истребитель немного отстал, перевернулся через крыло и снова пристроился почти рядом: видно, решил не тратить много патронов и расстрелять нас с одной очереди. Я в растерянности смотрела то на Машу, то на зловещие черные кресты. Потом неожиданно мой взгляд упал на ракетницу в «гнезде», на полу кабины. В одно мгновение я выхватила ее и, просунув в прорезь рядом со стаолом пулемета, выстрелила навстречу «мессеру».

Огненный шар разорвался прямо перед ним, самолет как-то нервно дернулся и круто взмыл вверх.

— Машенька,— крикнула я,— ушел! Испугался! Подумал, наверно, что оружие какое-то новое!

Ракетница все еще дымила у меня в руках, и я торопливо всовывала новую ракету. Вдруг «мессер» вернется? Но его нигде не видно. Маша выровняла самолет из крена. Огонь уже затягивало в кабину, запах горящего бензина забивал дыхание. Теперь мы смотрели только вперед, приглядывая — хоть маленький—клочок ровного поля, где бы могли приземлиться.

— Смотри, смотри,— торопила меня Маша.— Надо садиться немедленно! Мы и так долго испытываем судьбу.

Сбросив на пол кабины парашют, я аглядывалась в мелькающую внизу землю: овраг, кустарник, пригорок. Наконец, справа показался небольшой пятачок скошенного луга. Азродром? Но я не помнила, чтобы здесь был азродром. Может быть, только посадочная площадка? Нам подходила и она, ведь мы садились на фюзеляж, самолет было уже не спасти, и незачем выпускать шасси. Все лучше, чем в поле...

— Справа площадка, садись!

Почти над землей Маша ввела самолет в разворот, и вот уже зеленый кружок луга стремительно бежал навстречу нам.

— Фонарь не сбрасывай, огонь перекинется в кабину,— услышала я тревожный голос Маши.— На посадке придержи меня... Вылезать будем через лючок... Фонарь может заклинить при ударе...

Астролючок чуть поменьше обычной оконной форточки. Я открыла его и придерживала рукой. Потом мои действия стали почти машинальными, но они в тот момент словно высветлены каждой секундой, приближавшей нас к земле... «Поставить пулемет на крепление — при посадке он может сорваться и стукнуть в спину... Расстегнуть замки у парашюта Маши — на земле будет поздно возиться с ними...» Только замок на левом бедре я не могла достать и оставила его закрытым, чтобы не мешать Маше на посадке. «Так, сделано...— быстро подсказывала мысль.— Теперь отсоединить шлемофоны — длинный шнур может захлестнуть, и не выберешься... Следить за люком, чтобы не захлопнулся... Держать Машу за лямки парашюта, не то ударится головой о приборную доску...»

Самолет необычно низко летел над землей. Казалось, что мы уже давно должны коснуться зем-

ли, а толчка все не было и не было... Маша выключила моторы и тянула ручку пожарного крана. «Молодец,— мелькнула мысль.— Не забыла...»

Скрежет металла о землю, раздираемую огромным телом самолета... треск и грохот закрученных лопастей винтов, бьющих в последнем усилии, взорвавшийся огонь, закрывший все вокруг...

Потом все стихло. Слышно было лишь шипенье горящего металла. Мы замерли на мгновение. Кажется, целы...

— Быстрей! — крикнула Маша.

В кабине темно от дыма. Через несколько секунд я почувствовала, что задыхаюсь. Задержала дыхание, пошарила руками по бронеспинке и наткнулась на ноги Маши. Она еще не выбралась, наверное, зацепилась за что-то или не пролезала в лючок... «Скоро ли? Долго ли я смогу не дышать?» Минуту, не больше, это я знала. Иногда, шутки ради, мы устраивали состязание: кто дольше выдержит? Больше минуты у меня никогда не получалось... Ну, что там случилось?

Скорей, скорей! Обхватив руками ноги Маши, я подталкивала ее вверх... Еще усилие, и моя голова и плечи, почти следом за Машей, высунулись из лючка. В одно мгновение я вылетела из него: меня рывком, словно пробку, выхватили руки Маши и Вани Соленова.

— Бежим быстрее!

Мы отбежали в сторону. За спиной прогрохотал взрыв, слышен был треск рвущихся снарядов.

— Центральный бензобак взорвался,—тяжело дыша, сказала Маша.— И патроны сейчас стрелять начнут, у меня на пулеметах ведь почти целый боекомплект...

Мы взобрались вверх по железнодорожной насыпи и в изнеможении опустились на поросшие травой шпалы. Метрах в двадцати от нас, внизу, распластав крылья, лежал наш самолет. Пламя огромным костром поднималось к небу. Из огня вдруг вылетела ракета и с воем закружила по земле. Мы молчали, равнодушно и устало глядя, как пламя пожирало остатки машины. В голове никаких мыслей, только шум и звон.

— Хорошо сели...— рассеянно заметила Маша,— еще немного — и врезались бы в насыпь!..

Да, от самолета до насыпи несколько десятков метров. Не рассчитай Маша точно посадку, быть бы нам уже в «мире ином»...

— Забыла прицел вытащить...— вдруг вспомнила я,— успела бы...

Маша в недоумении смотрела на меня.

— С ума сошла... Какой прицел?

— Мой, для бомбометания. Галина Михайловна говорила: дорого стоит. Пока я ждала, когда ты вылезешь, могла бы отсоединить его и взять.

Инженер по вооружению полка Галина Волова действительно говорила что-то подобное, но почему мне пришло это в голову в тот миг? Разве у нас была просто «вынужденная» посадка? Не знаю, но мне стало ужасно жаль сгоревший прицел.

Маша пожала плечами и отвернулась, словно услышала бессмыслицу, о которой не стоило даже говорить.

Напряжение первых минут постепенно проходило, и мы начали разглядывать друг друга. Лицо Маши в пятнах копоти; клочья разорванного комбинезона едва прикрывали ее ноги.

— Соленчик, что с тобой? — спохватилась Маша, увидев, что Ваня прижал ладонь к плечу.— Ты ранен?

— А-а, так, царапнуло...

Своего стрелка-радиста мы звали «Ванечка» или «Соленчик». Да и по-другому просто немыслимо его назвать. Он небольшого роста, даже ниже Маши, голубые глаза в светлых, выгоревших ресницах смотрели всегда застенчиво и робко, говорил Ваня медленно, чуть запинаясь, и всегда неудержимо краснел.

— Давай перевяжу.— Маша потянулась к нему, расправляя носовой платок.

— Не надо...— слабо запротестовал Ваня.— Так пройдет.— Даже под слоем сажи видно было, как пунцовый румянец заливал щеки Вани.

— Вот еще! Ты что это командиру не подчиняешься? — Маша туго затянула его плечо.— Это ты с нашим доктором спорить будешь, а со мной — не выйдет. Вон, смотри, «рама» появилась, нас, видно, приметила. Еще бомбить начнет.

Действительно, в небе над нами висела «рама» — Фокке-Вульф—189, спокойно делая круг за кругом над площадкой.

— Это она не нас высматривает,— сказал Ваня,— вот это, наверно.

Мы огляделись вокруг и заметили по сторонам луга кое-как замаскированные самолеты. Но не настоящие боевые машины, а грубо сколоченные из досок и бревен макеты.

— Ложный аэродром,— добавил Ваня,— вот куда мы приземлились. Поэтому и «рама» висит, высматривает. Вдобавок наш самолет тут сел, вот они и думают, что тут настоящий аэродром.

— Ваня прав,— сказала Маша.— Пора уходить отсюда, а то еще бомбить прилетят, и нам ненароком достанется.

Мы поднялись и, бросив прощальный взгляд на догорающие обломки машины, медленно зашагали по шпалам. Кругом тихо и безлюдно. Покрытые ржавчиной рельсы терялись в густой траве, свежие воронки от авиабомб чернели по сторонам насыпи.

— Ну, штурман,— обратилась ко мне Маша,— давай-ка курс, куда нам идти.

— Аэродром тут должен быть километрах в десяти,— прикинула я на карте,— туда и надо идти. Оттуда и в полк можно сообщить, что мы целы.

Уже затемно мы вышли к аэродрому. На краю летного поля, как-то отдельно от других самолетов, стояли две машины Пе-2.

— Может быть, это наши? — нерешительно сказала Маша.— Давайте подойдем.

Невдалеке от самолетов мы остановились и прислушались. Слышен был тихий говор, потом неожиданно раздалось громко:

— Тоше ужин не давать, она свой бортпаек давно съела!

Это голос Кати Федотовой. Неунывающий голос, такой родной, что у меня вдруг гулко застучало сердце.

— Вот идолы,— прерывающимся от волнения голосом, тихо шепнула Маша,— обжоры ненасытные... Уже едят...

Мы незаметно подошли и в изнеможении повалились в тесный кружок под изумленное и радостное «О-о-о!»

Потом мы лежали рядом, все три экипажа, под крылом самолета. Тишина нарушалась лишь легким гулом пролетающих над нами ночных бомбардировщиков По-2. Изредка, когда заходили на посадку, они помигивали бортовыми огнями. Среди высыпавших звезд они — как беспокойные красные и зеленые светлячки в этом тревожном небе.

Спину и плечи ломило от усталости, запах горелого бензина пропитал все: одежду, руки, волосы, и

от этого запаха подкатывала к горлу тошнота. Хотелось выбросить из памяти все, что произошло в тот день: бой, огонь, посадку. Но события навязчиво ползли в сознание, проворачиваясь в памяти, как фильм в замедленной съемке. Вдруг всплывал «мессер», подкравшийся из-за киля и полоснувший очередью по мотору, и я чувствовала дрожь моего пулемета, то вспоминались крылья с черными крестами над головой, то ракета, вертящаяся юлой вокруг горящих обломков...

Голова скатилась с парашюта, и я прижалась лицом к земле. Покрытая росой трава холодила лоб, пахло чем-то давно знакомым: то ли ромашкой, то ли мятой... «Страшная война,— пришла мысль,— страшная... Сегодня всех нас уже могло не быть... всех, кто лежит сейчас рядом со мной. А все равно воевать надо; если не мы, так кто же? Это Женя нас сегодня вывела из пекла, хороший у нас комзск...»

— Женя беспокоится теперь...—услышала я тихий голос Кати и приглушенный вздох.— Не спит она, наверно.

— Завтра на рассвете вылетим и дома будем,— ответила ей Тоня Скобликова.— Уже скоро, ночи теперь короткие...

8

Впервые за время боевых действий эскадрилья не пронеслась, как обычно, над аэродромом на небольшой высоте, возвещая об успешном вылете... И моторы гудели надрывно и тревожно. Не было привычной четкости и точности при заходе на посадку. Приземлившись, рулили к стоянкам медленно, точно стараясь оттянуть тревожные расспросы встречающих.

Женя приземлилась последней. «Лучше бы и я не вернулась сегодня, чем сейчас смотреть всем в глаза...— думала она, заруливая самолет к своему капониру.—Хоть беги куда-нибудь...»

— Ну, докладывай,— хмуро сказал командир полка, когда Женя подошла к командному пункту.— Что произошло? Где остальные экипажи?

Женя, сдерживая волнение, точно и кратко доложила о полете. Она не упомянула лишь о четырех сбитых «мессерах», чтобы командир не подумал, что она хочет сгладить как-то горечь потери четырех экипажей.

— Куда ушли подбитые самолеты? Место приземления заметили?

— Из самолета Долиной никто не выпрыгнул, место посадки остальных «засекли» приблизительно. Они ушли в сторону от нашего курса.

Командир молчал, разглядывая носки своих сапог, и изредка подергивал шеей. Потом, взглянув исподлобья на Женю, сказал:

— Что ж, Евгения Дмитриевна, ты действовала в воздушном бою так же, как решал бы эту задачу и я... Я не виню тебя... А потери... Сама же любишь говорить, что не на танцы прилетели: на войну. Вылет на вылет не приходится. В строю как держались?

— Все шли отлично, товарищ командир.

— Вот поэтому и выиграли вы бой. Я считаю, что выиграли сами, без помощи наших истребителей.

— Мы сбили четыре «мессера»,— добавила Женя.— А летчики, я думаю, справятся с посадкой, если даже в поле придется сажать машины.

— Будем надеяться...

До сумерек никто не уходил с аэродрома. Ждали, строили вероятные и невероятные предположения. Экипажи не возвратились...

Ночь прошла в тревожном ожидании: вдруг раздастся телефонный звонок, сообщающий о найденных самолетах. Но звонили по другим делам, а о пропавших экипажах ничего не было известно. На рассвете Женя отправилась на аэродром. Тихо шла вдоль стоянки, выслушивала рапорты механиков и так же медленно брела дальше. Около пустого капонира, где всегда стоял самолет Кати Федотовой, сидел, обхватив голову руками, техник Андрей Иванович Наливайко. Обычно, подготавливая самолет к вылету, он весело приговаривал: «Та ты ж моя красавица! Та вона ж любить чистоту та заботу!»

Машина у него была всегда в идеальном порядке, а на носу кабины он нарисовал летящую ласточку. Теперь он только хмуро поприветствовал Женю.

Рядом другой капонир, тоже пустой, а дальше еще...

— Не вздыхай так тяжело,—услышала Женя голос Клавы Фомичевой, своего заместителя.— Сама тревожусь, но чувствую: вернутся девчонки, и все тут! — Шагая рядом с Женей, Клава продолжала: — Хорошо вчера держались! Ты только подумай: сбили четыре истребителя. И помощи никакой, сами справились.

Женя, заложив руки за спину, остановилась у пустого капонира:

— Хорошо тебе говорить. Вот станешь командиром эскадрильи, узнаешь. Сама начнешь самоедством заниматься. И то, кажется, не успела и другое...

— А ты, Женя, здорово вчера вела строй. Я б, наверно, не выдержала — прибавила скорость.

Подошли к краю стоянки. У последнего капонира Женя, примяв папиросу, закурила.

— Выдержала, когда бы знала, что за тобой еще восемь самолетов. А прибавила бы — не вернулся б никто. Дело не в том, чтобы поскорее уйти, а в том, чтоб все были вот! — Женя сжала кулак.— Тогда и защищаться легче. На большой скорости не удержаться в строю подбитым самолетам, они отстанут и будут верной добычей «мессеров». Кажется, все просто, а знала бы ты, как это тяжело и сложно!

Над краем аэродрома, там, где начиналась железнодорожная насыпь, показался блестящий ломтик солнца. Женя прислушалась: где-то на подходе к аэродрому летел самолет. Легкий пульсирующий звук приближался с каждой секундой.

— Кто это летит так рано? — Клава тоже прислушалась.— Женя, послушай, ведь это определенно «пешка»!

Звук самолета слышался совсем ясно, и Клава бросилась бежать к выложенному стартовому полотнищу.

— Да погоди ты, Клава! — крикнула Женя.—Ну куда помчалась! Отсюда увидим, кто прилетел.

Над крышей командного пункта показался Пе-2. Самолет прошел над стартом совсем низко, плавно развернулся, и Женя отчетливо увидела на фюзеляже номер. Четырнадцатый! А на кабине — летящая ласточка.

— Женя! Катя прилетела!

— Вижу! Ишь, истребитель какой появился, фокусы над аэродромом показывает.— Женя старалась скрыть свое волнение под напускной ворчливостью.— Ну... я вот тебе...— Она погрозила пальцем.

Самолет сел и, быстро развернувшись, порулил к стоянке. От капонира, размазывая слезы на смуг-

лом лице, бежал напрямик через взлетную полосу к рулящему самолету Андрей Наливайко.

— Андрей Иванович, нельзя же так...

Он не слышал слов Жени. Он бежал и видел только свою «ласточку» и озорные глаза Катюши Федотовой.

Остановились лопасти винтов. Хлопнул люк, полетел вниз на землю парашют. Легко выпрыгнула, едва коснувшись подножки, штурман Клара Дубкова. Девушки удивленно глядели на сбежавшийся аэродромный народ:

— Вы чего это так переполошились?

— Да ведь думали, что вас сбили!

— Ну да, сбили! Били, да не добили, не так просто! На самолете повреждение было, вот и сели на истребительный аэродром.

— Как бы не так — сбили! — Из верхнего люка второй кабины показалась голова стрелка-радиста Тоши.— Мы еще повоюем!

Увидев подошедшую Женю, Катя доложила:

— Товарищ командир! Экипаж самолета номер четырнадцать задание выполнил! Из-за пробоин в бензобаках пришлось садиться на первый попавшийся аэродром. Сели нормально.

— Это я уже вижу. А другие экипажи? Не видели, что с ними?

— Все в порядке, комэск! Скобликова сейчас будет здесь, мы почти вместе сели. И Долина...

— Маша жива?!

— Живы, живы, комэск! Все живы.

— Да вот, Тоня заходит на посадку!

— Кто же вам машину ремонтировал?

— Сами, товарищ комэск.— Катя потупилась.— Такие вещи, конечно, делать не полагалось, но... Не сидеть же нам! Сделали деревянные заглушки и всунули их в пробоины.

— И с такими заглушками ты нам сейчас здесь бреющий полет демонстрировала? Ох, доберусь я до вас!

Женя легонько хлопнула ее по затылку. Все рассмеялись. Потом, как по команде, повернулись в сторону железнодорожной насыпи: на посадку заходила еще одна «пешка».

Теперь уже все бросились бежать через полосу к приземлившейся машине. Из кабины спрыгнули Тоня и Маша со своими экипажами.

— Ну и «галогены»...— тихо сказала Женя.— Как же ты их всех втиснула? — повернулась Женя к Тоне.

— В тесноте, да не в обиде. Не бросать же их одних. Долетели потихоньку.

— А парашюты у всех были? — Женя строго посмотрела на обнявшихся подружек.

— Мы свои не надевали.— Тоня засмеялась.— У Маши-то парашюты сгорели, вот мы и решили лететь на равных.

— А если бы «мессеры»?

— Ушли бы на «бреющем»...

— Со-оба-ки...— протянула, улыбаясь, Женя.— Вот со-баки...— Она вздохнула глубоко и облегченно.

И занимавшийся день показался ей таким светлым и радостным, словно сулил не следующий бой, а покой и безмятежность.

«Ну, Женька, и счастливая же ты... Подумать только! Все вернулись! Дорогие мои девчонки... умницы вы мои!..»

Волна нежности нахлынула в сердце, но Женя, погасив улыбку, растягивающую непроизвольно рот, сдержанно сказала:

— Ну ладно, если машины успеют отремонтировать, пойдете в боевой расчет, не успеют — отдыхать.

— Та мы ж тут скоренько,— подал голос Наливайко.

— А что нам отдыхать,— тряхнула Катя головой,— мы хоть сейчас готовы.

Женя кивнула и медленно пошла к дальнему краю аэродрома. Она шла, как всегда, заложив руки за спину, чуть сутулясь, опустив голову. Мы заметили, как Женя сняла пилотку и вытерла ею лицо.

— Хорошая у нас комэска...— сказала Маша, насупив черные ниточки бровей.— Пусть побудет одна.

Женя вышла к дороге, накатанной вдоль старого, заброшенного сада, по-утреннему пустынной, с прибитой ночной росой пылью. Стала, опершись о шершавый ствол дерева. Отсюда хорошо был виден весь аэродром. Суетились около самолетов механики и мотористы, вдоль полосы бежала полуторка-стартер для запуска моторов, из-за дальних хат станицы шел строй девушек. Сквозь негустую еще, блестящую листву дерева синело небо, такое высокое и прозрачное.

Она стояла и слушала, как легкий утренний ветер пробегал по верхушкам деревьев, пропадал вдалеке, и снова наступила мягкая тишина утра. От станицы потянуло кизячным дымком. «Вишня скоро поспеет...— подумала Женя, разглядывая рассыпанные среди листвы ягоды.— Уже краснеет...»

Издалека послышался приглушенный звук заработавшего мотора. Он то замирал на мгновение, то снова нарастал мощно и грозно. «Пора мне. Скоро могут дать боевую задачу».

...К вечеру возвратился и экипаж Оли Шолоховой; она была ранена, но сумела посадить горящую машину и спасти экипаж.

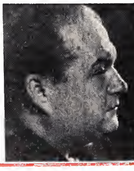
Через несколько дней в штаб полка пришел информационный бюллетень боевых действий авиации. В бюллетене сообщалось: эскадрилья Пе-2 под командованием Е. Д. Тимофеевой при выполнении провождения сумела провести воздушный бой с группой истребителей противника. В бою экипажи эскадрильи сбили четыре Ме-109, потеряв при этом только два своих самолета. Этот опыт говорит о том, что наши бомбардировщики, при хорошем строе и четкой обороне, могут выполнять боевое задание без прикрытия истребителей сопровождения и побеждать, даже если противник превосходит их в количестве самолетов.

Начиналось лето сорок третьего...

●

Евгений Винокуров





Джордано Бруно

За истину, за убежденья
он принял смерть в расцвете сил...
Я ныне, в день его рожденья,
тост за него провозгласил!
Уже огонь лица касался,
уж весь он потонул в дыму,
но целовать он отказался
крест, что протянут был ему...
Взор вскинув к небу вдохновенный,
он думал в этот миг, суров,
о бесконечности Вселенной,
о бесконечности миров.
Но, в это веруя глубоко,
твердил одно он, не таясь,
что истина не против бога,
а только бога ипостась!
И в шелковой лиловой рясе
смотрел печальный кардинал,
как к той великой ипостаси
в огне он руки простирал.

Сон

Одной лишь тайною влекома,
душа тянулась к вышине...
А мать, придя с бюро райкома,
дала пирог с капустой мне.
Усталую, ее жалея,
к подушке я щекой приник.
И надо мной парила фея
из древних и забытых книг.

Лошадь в шахте Кардифф

Лошадь, что бредет глубокой штольней,
черное пред ней открыто дно...
Нет на свете чище и просторней
неба, что ей видеть не дано!
В сумерках, неощутимых, серых,
чувствуя непреходящий зуд,
ничего не ведает о сферах,
что, по мненью гностиков, поют!
Не прибита сложным мирозданьем,
подошла к неведомой черте,
отвечает невеселым ржаньем
угольной горчащей пустоте.
Жизнь ее уже прошла без света,
без событий, без часов, без дат...
Как ей ведать, что в пространствах где-то
ангелы, наверное, летят!

Комок

Глаза анатом сузил,
взял скальпель со стола...
...Так вот всемирный узел,
комок добра и зла!

В нем две отдельных части,
он весь в крови намок...
Как он дрожал от страсти,
тот мускульный комок!

Покоя ни минутки,
все о делах радел.
Но от бестактной шутки
частенько холодел!

И, как сигналы с Марса,
приняв любой намек,
он, мнительный, сжимался,
тот мускульный комок!

И в нем гуляли волны
то истины, то лжи.
Его терзали войны,
трепали мятежи.

Заботы все, заботы!
То нежен, то жесток...
Как он хотел свободы,
тот мускульный комок!

Что там — венец иль плаха!..
Все ж мясо — не металл!
От радости и страха
он равно трепетал.

Хотя в час медосмотра
в нем слышался шумок,—
постукивал он бодро,
тот мускульный комок!

Сидела в нем заноза
уже немало лет...
Казалось, что износа
ему на свете нет!

Он был широк по-русски,
но вынести не смог
последней перегрузки,
тот мускульный комок!

Мистического знака
все ждал и ждал с вершин!..
...Но не помог, однако,
и нитроглицерин.

Медуза

Медуза скользкая мясиста,
она заметна без труда
вон там, где цвета аметиста
мерцает в глубине вода.

Почти не составляя груза
и омерзительно нежна,
ты, бесполезная медуза,
зачем на свете ты нужна!

Заполнив южные широты,
как стекловидное трялье,
ты славишь замысел природы
и бескорыстие ее.

НАЙТИ СВОЮ ЛЮБОВЬ...



Здравствуй, дорогая редакция!

Странно я, наверное, сейчас выгляжу: сидит девчонка в простеньком таком белом платье на «живую нитку» и улыбается. От счастья! Завтра — моя свадьба.

Может быть, для кого-то такой день — как ритуал, как парад: прекрасный туалет, обилие друзей, родственников, машина «Волга» с белым пупсиком, а потом пир на тысячу рублей в ресторане. Нет, меня ничто такое не ждет. У меня все будет куда как просто, и это даже немного грустно. Не придет много народу на нашу с Костей свадьбу, и денег у нас нет, чтобы купеческое пиршество отгрохать. У нас все иначе было и будет.

Может быть, покажусь я всем безрассудной, потому что уж очень странная эта история.

Учились мы с Костей еще в школе вместе. На первой парте нас посадили — для «нейтрализации»: он был парень заводной, резкий, учился плохо, а я тихоня, старательная отличница. Костю люди в большинстве своем недолюбливают. Чуть что — он противоречит, возражает, спорит.

Признаться, я его тогда, в восьмом классе, тоже не любила. До одного случая. Однажды иду я с подружкой своей Надей, и вдруг подходит ко мне высокий парень в джинсах, с длинными волосами. Говорит: «Пошли, прошвырнемся, рыжая!» — и за руку меня схватил. А от самого — перегаром. Я стала вырываться. И вдруг откуда-то появился Костя. Он этого «хиппаря» ударил. А тот оказался не один, с компанией... Началась драка...

Потом дело передали в милицию. Я не видела Костю почти два года.

Мы писали друг другу письма. Писали обо всем. Оказывается, он интересный человек, любит музыку, литературу, разбирается в кино, но главное — он хочет стать архитектором, чтобы города были прекрасными и умными. Часто в своих письмах он мне присылал рисунки — школа будущего, с садом, бассейном, маленьким театриком, мастерскими, где ребята 13—14 лет уже будут делать красивые и нужные вещи.

Постепенно письма Кости стали для меня самым дорогим, я в них увидела не просто мечты. Наверное, с этого и началась наша любовь.

Но о нашей переписке узнали мои родители. Мать нашла письма у меня в портфеле и разорвала их. Целый вечер она кричала, что я связалась с негодяем и позорю наш дом. Это было ужасно! Мне не дали сказать ни слова, требуя, чтобы я перестала ему писать. Я обещала.

И вот письма прекратились. Жизнь катилась своим чередом, подходил к концу 10-й класс. А мне было очень тоскливо. Я ходила вялая, без всякого интереса к чему бы то ни было. Люди раздражали, а мысли все время возвращались к одному — к нему, Косте. Постепенно я стала понимать, что не могу перенести своего предательства, не могу жить в разлуке. И все заметили, что я стала груба, что я отвечаю дерзостями — так же, как когда-то он. На весенние каникулы я собрала денег и поехала к нему в колонию.

Трудно описать всю горечь и радость нашего свидания! Костя все понял, не озлобился и простил меня. Мы решили всегда быть вместе.

Но стоило ему вернуться в наш город, как начались новые горести. Что ни вечер, родители устраивали мне скандалы, угрожали, говорили, что пойдут к Косте на работу, что пожалуются в техникум, куда я поступила после школы.

А я, чем больше мы виделись с Костей, тем яснее понимала, что никто другой мне не нужен. Ведь несмотря на все неприятности и беды, он остался честным. Он был очень добрым и нежным со мной, внимательно выслушивал. Говорил: «Ничего, будет нам по восемнадцать, поженимся и уедем отсюда». И вот нам 18. Никогда мы не ссоримся, потому что самое дорогое у нас — это наши отношения, вера в то, что есть другой человек, который дорожит тобой, понимает...

Полгода тому назад я ушла из дому. Живу на квартире. Техникум бросила и пока работаю, чтобы подкопить денег.

Удивительно, удивительно счастливый день у меня завтра! Завтра — начало новой жизни. Мы уже решили — уедем туда, где все тоже только начинается. Поработаем года два, а потом вместе поступим в архитектурный институт. Мне даже все равно, куда ехать. Лишь бы вместе. Я верю: самое дорогое в моей жизни — это любовь. И я готова всем пожертвовать, чтобы только пронести ее через всю жизнь.

Мне очень жаль моих родителей, друзей, соседей, которые до сих пор не хотят понять, что главное в человеке не то, сколько он получает и что́ у него было в прошлом, а чтобы ты была готова отказаться от всего, что мешает быть вместе с ним. Родители не хотят со мной видеться. Честное слово, мне их жалко! Ведь главное — это любовь. Любовь поможет преодолеть все трудности, понять, что́ важно, а что нет. В любви как бы все забываешь и в то же время все как-то очень глубоко видишь и чувствуешь. В любви — и доброта, и сила, и мужество, и мудрость, и красота.

Если встретил любовь, то все остальное приложится. И деньги, и положение в обществе, и уют, и квартира, и приятели, и развлечения. К счастливым ведь и люди тянутся и удача приходит. Мне кажется, мы с Костей правильно начали жизнь: сначала построили и отвоевали свое чувство, свою любовь, а уж потом возьмемся за все остальное.

Ну скажите, разве мы не правы? Разве это не самое главное — найти свою любовь?

С искренним приветом и пожеланием огромного счастья!

Марина К.

✪

К нам в редакцию приходят сотни писем о любви. Но мы выбрали именно это потому, что оно показалось нам наиболее интересным, искренним, значительным. Вероятно, оно вызовет разные суждения. Мы приглашаем вас принять участие в начатом Мариной К. разговоре. Достаточно ли только любви для того, чтобы «приложилось все остальное»? Что думаете об этом вы?

Напишите нам. Ждем ваших писем.

Агния БАРТО

ПЕРЕВОДЫ с детского



Давно я собираю детские стихи. Сначала просто для себя привозила их из тех стран, где побывала. Потом подумала: наверно, нашим детям захочется узнать, о чем пишут их сверстники, «невеликие поэты» в разных концах земли.

«Невеликие поэты» — так я шутливо называю маленьких авторов. И вот их стихи в этой книжке [1]. Переводы их стихов? Нет, стихи детей, а написаны они мной. Как же так? Сейчас вы поймете.

Конечно, я не знаю многих языков. Но знаю язык детский. И потому в подстрочном переводе стараюсь уловить чувства детей, понять, что они думают о дружбе, о мире, о людях.

Многое роднит «невеликих поэтов», но часто их переживания глубже, богаче, чем ребенок способен выразить. Вот я и постаралась, сохранив смысл каждого стихотворения, найти для него ту поэтическую форму, которая позволит прояснить, точнее передать сказанное ребенком. Сумею ли я при этом сберечь присущую ребенку непосредственность, детскость? Должна суметь,— я же детский поэт.

Стихи в книжке написаны от имени детей разных стран, а рисунки в ней — наших советских ребят. Мне кажется, что именно так «Переводы с детского» составят единое целое.

[1] Книга готовится к печати в издательстве «Детская литература».

— Вы ищете стихи детей? Это — трудное дело: наши дети стихов не пишут,— сказал мне в Хельсинки отец одного из финских мальчиков и добавил: — Они у нас стеснительные, замкнутые — северный характер.

«Стеснительные» — в этом он был прав. В финско-русской школе на мой вопрос к пятиклассникам, пишет ли кто-нибудь из них стихи, последовало смущенное молчание. Ни один голос не раздался, ни одна рука не поднялась, но одна девочка выдала себя, покраснела.

А после нескольких встреч смущение ребят стало проходить, и оказалось, что во многих классах есть поэты. Из их рук я получила пятьдесят семь стихотворений на финском языке. Школьники сами перевели их на русский. Вот, к примеру, перевод стихотворения Нины Ринтанен: «Весна пришла. Птицы могут петь и солнце светить. Дети могут играть и радоваться приходу весны, ведь мир у нас».

От имени Нины Ринтанен,
ей 9 лет.

Весна

К нам весна пришла опять,
Могут птицы прилетать!

Я на градусник взгляну!
Сколько градусов!
Можем мы встречать весну
Радостно!

Можем прыгать,
Можем петь,
Я пою,
А ты — ответь!

С нами вместе мчатся в класс
Наши лесенки,
Потому что мир у нас
В Хельсинки.

Можем прыгать,
Можем петь,
Я пою,
А ты — ответь!

От имени Сивры Густавссон,
ей 9 лет.

Мама

Я говорила маме:
— Не уходи далекó!
Слезы польются сами,
Если ты далеко.
Вдруг ты в лесу дремучем
И от меня далеко!
Лучше, на всякий случай,
Не уходи далеко.

От имени Ану Утрайненен,
ему 10 лет.

На пастбище

Быка зовут Мясистый Лянька.
Он сильный бык!
Ты только глянь-ка:
Когда огромный бык пасется,
Земля на пастбище трясется!

От имени Сату Вирен,
ему 9 лет.

Затмение солнца

Нет, что-то было не в порядке:
Собака выла неспроста!
С землей играло солнце
в прятки,
И днем настала темнота.

Взгляни на запад, на восток ли —
Не видно солнца! Где оно!!
Смотрели взрослые в бинокли...
Смеялись дети все равно.

Понравился мне «Голубь» Тиины Линдстрём. Вот дословный перевод с финского, несколько строчек из ее стихотворения: «...Белые голуби поймали черную железную птицу, которая подстрекает людей к войне. Молодец белая птица!..»

От имени Тиины Линдстрём,
ей 13 лет.

Голубь

Люди на улице
Подняли головы:
Голуби, голуби,
Белые голуби!

Шумом их крыльев
Город наполнен,
Людям о мире
Голубь напомнил.

Черная птица,
Откуда такая!
Вьется, прохожих
К войне подстрекая.

Черная птица
Клювом железным
С голубем белым
Бьется над бездной.

Пусть он везде
Победителем будет!
Голубь отважный —
Крылатый витязь!
Не убивайте друг друга,
О люди!
Остановитесь!

От имени Эйя Воутилайнен,
ей 9 лет.

Любовь

В сердце войдет любовь —
Станешь счастливым вдруг,
Что это значит любовь —
Знает мой лучший друг.

От имени Тарьи С.,
третий класс.

Любовь

Любовь, ты очень дорога нам,
Ворвешься в сердце ураганом,
И можно даже в увлеченьи
Во сне увидеть обрученье.

Еще четыре строчки про любовь. Они принадлежат Тиине Линдстрём, от имени которой написано стихотворение «Голубь». Не знаю, сама ли Тиина перевела их с финского или ей помогли ее друзья, но этот подстрочник оказался таким непосредственным и выразительным, что я оставила его неприкосновенным:

Любовь — это такое чувство,
Когда чувствуешь такое чувство,
Такое чувство, которого
Раньше не чувствовал.

В Африке я не была, но один из моих друзей, возвратившийся оттуда, привез мне стихи детей Либерии на английском языке. В стихотворении Каролины Гоно меня удивили звери. Я ждала, что африканские дети запросто говорят о крокодилах, китах, тиграх, обезьянах. Так оно и есть. Но вот девятилетняя африканка окружила себя самыми обыкновенными полевыми мышами, кроликами, лисами. Полная сомнений, я позвонила прямо в «Мир животных» и попросила Василия Михайловича Пескова на минутку заглянуть в Либерию и выяснить, живут ли там столь привычные для нас кролики и лисицы.

— Живут, живут... Либерия очень разнообразна, только лиса там поменьше нашей,— ответил Василий Михайлович.— У девочки все правильно.

Теперь я могла писать:

От имени Каролины Гоно,
ей 9 лет.

Соседи по зеленому холму

Где живут мои друзья!
На холме высоком.
Им не нужно для жилья
Ни дверей, ни окон.
Только светом залитой
Холм, от солнца золотой.

По зеленым склонам я
Подымусь повыше,
Здесь живут мои друзья —
Полевые мыши,
И с жуками я дружу —
Пролетит знакомый жук:
— Все жужжишь ты!
— Все жужжу!

Иногда приду чуть свет,
Закричу крольчатам:
— Там охотники! Там след
Чей-то отпечатан!

Прогуляться полчаса,
Если станет тихо,
Выйдет рыжая лиса,
Знает, в чем ее краса,
Эта щеголиха.

Здесь живут мои друзья,
И на холм соседний
Прибегаю первой я,
Ухожу последней.

От имени Джонсона Уиснант,
ему 14 лет.

Африканский танец

Бьют тамтамы, бьют тамтамы,
Пляшут дети, папы, мамы...

Если в звуках рокотанье,
Тихий плеск речной волны,
Мы танцуем под тамтамы
Плавный танец тишины.

Если звонко, в бурном ритме
Разговор ведет тамтам.
— Ты танцуй! — он говорит мне,
Он как будто пляшет сам.

Бьют тамтамы, бьют тамтамы,
Пляшут дети, папы, мамы,
Африканцы-старики
Пляшут, нá ногу легки.

Бьют тамтамы, бьют тамтамы,
Кончен день счастливый самый,
Но хотя замолк тамтам,
Ходит музыка тамтама
Вслед за нами по пятам.

От имени Чарлезетты Мур, 9-ти лет.

Собака и крокодил

Однажды собака
Бежала к реке.
И вдруг увидала
Бревно вдалеке.
Залаяла громко
Она на бревно...
Оно шевелится!
Живое оно!

Приблизиться страшно
К такому бревну!
А это лежал,
Растянувшись в длину,
А это дремал
У реки крокодил.
Испуганный лай
Его вмиг разбудил.
И, в воду скатившись,
Ушел крокодил.

Собака у берега
Долго бродила,
Наверно, искала
Следы крокодила.

На окраине Парижа в районе Кламар есть интересная детская библиотека. Там дети сами пишут и печатают на небольшом типографском станке свой библиотечный журнал. Он стоит недорого, и многие взрослые охотно покупают его еще и потому, что деньги идут в помощь библиотеке.

В одном из номеров журнала девятилетний Лоренс, Вероника двенадцати лет, Надин, Эрик и Фредерик тринадцати лет, Бруно и Жан Ив — им по четырнадцать — спросили самих себя: «Что мы думаем о двухтысячном годе?» Ответы некоторых из них послужили мне темой для стихотворения, а его героев я увела из стен библиотеки в сад Тюильри.

Между прочим, один из французских мальчиков подписался так: «Неизвестный, пришедший из двухтысячного года».

В саду Тюильри

В прекрасном Париже,
В саду Тюильри,
Где дети шумят
До вечерней зари,
Зашел разговор
Про двухтысячный год!
— Каким-то он будет!
И с чем он придет!

— Все станет дешевле! —
Сказали девчонки.
А длинный подросток
В измятой кепчонке
Стоял и молчал,
Снисходительно глядя.
По росту он был
Не подросток, а дядя.

Зашел разговор
Про двухтысячный год,
А в небе, над городом,
Плыл самолет.

— Погоды тебе! —
Крикнул длинный подросток
И начал размахивать
Кепочкой пестрой.

— В краю голубом
Ты спокойно паришь,
Но тысячи бомб
Не взорвут ли Париж!!

Их столько скопилось!
Куда их девать!
Двухтысячный год
Их начнет раздавать!

Одна из девчонок
С нахмуренным лбом
Подсела к подругам поближе:
— Но если все больше
Становится бомб,
Боюсь, что не станет
Парижа!
Пусть лучше тогда
Никогда не придет
Двухтысячный год!

Одно из моих первых впечатлений о Болгарии: иду по лесу, невдалеке поют дети. Звонко, слаженно. «Где-нибудь рядом пионерский лагерь»,— подумала я. Вышла на поляну, а там просто несколько девочек пели на пригорке о своем родном крае: «Хэй, Балкан, ты роден наш». Пели, всей душой отдаваясь мелодии и словам песни. Встречаясь с болгарскими детьми, я всякий раз убеждалась, что они прекрасно умеют слышать и музыку стиха. Точное чувство ритма есть в их собственных стихах. Может быть, именно потому мне особенно хотелось глубже раскрыть живую поэтическую мысль болгарских «невеликих поэтов».

От имени Магды Гюровой, 9-ти лет.

Художник

Рисовать я буду!
Рисовать я буду,
Каждому рисунку
Радуясь, как чуду!

Что я нарисую!
Девочку босую
И в цветах долины
Парня с мандолиной.
По тропинке длинной
Он уходит в путь...
Вдалеке вершины
Все в снегу по грудь.

Рисовать я буду
И мечтать, что всюду
Поняли меня...
Рисовать я буду
Деда у огня,
Сельский дом болгарский,
Горы в тишине...
Кисточки и краски,
Помогите мне!

От имени Симеона Кёсева,
9-ти лет.

Горделивая ваза

Взволновалась ваза
Из-за василька:
— Я не для такого
Создана цветка!

Сорняки и травы
Не приносят славы!

Я люблю певкои,
Но достойна роз.
Удивленный школьник
Задал ей вопрос:

— Скромные ромашки,
Значит, не для вас!
Странные замашки
Бывают и у ваз!

От имени Станиславы Стояновой,
ей 10 лет.

Родопы

Родопские горы,
Родопские горы,
Кто здесь побывал,
Их забудет не скоро.

В Родопских горах
На вершины запез,
Залез на вершины,
Вскарабкался пес.

Стекают, сверкают
Притоки Марицы,
У птицы летящей
Крыло серебрится.

Родопские горы,
Родопские горы,
У здешних девчонок
На юбках узоры.

Куда-то девчонка
С пригорка промчится,
В узорчатой юбке
Колышется птица,
Колышется птица,
Крыло серебрится.

Среди стихотворений, которые у меня хранятся, есть фотокопии сборника «Стихи детей», изданного в Висбадене (Федеративная Республика Германии) в 1958 году. Выбрала я из сборника два стихотворения. Фамилии авторов не названы. Младшему шесть лет, старшему — пятнадцать, но их стихи сродни одно другому.

Стихи Диетера К.
в моем вольном переложении.

✪

В большом гнезде, на деревце
Птенцов не сосчитать.
Их накормить надеется
Заботливая мать.
Их много, их одиннадцать!
Их ротики разинуты.
Пищат сынки и дочери,
А мать вокруг снует
И по порядку, в очередь
Им гусениц сует.
Когда детей одиннадцать,
И ротики разинуты,
И каждого корми —
Не так легко с детьми!
Но вот закрыты ротики,
И вся семья сыта,
А мамин хвост коротенький
Торчит из-под куста.

Стихи юноши 15-ти лет
в моем вольном переложении.

Мама поет

Мама по комнатам
В фартуке белом
Неторопливо пройдет,
Ходит по комнатам,
Занята делом
И между делом
Поет.
Чашки и блюдца
Перемывает,
Мне улыбнуться
Не забывает
И напевает.
Но вот сегодня
Голос знакомый
Словно совсем и не тот,
Мама по-прежнему
Ходит по дому,
Но по-иному поет,
Голос знакомый
С особенной силой
Вдруг зазвучал в тишине.
Доброе что-то
В сердце вносил он...
Не разреветься бы мне!

Теперь оба эти автора совсем взрослые люди. И как бы мне хотелось думать, что они сумели сохранить любовь к матери, к людям, к природе, доброту, глубину чувств, все то, что сближает два их детских стихотворения...

В Югославии, в одной белградской семье, где довольно хорошо говорили по-русски, хозяйка дома сказала восьмилетней дочке:

— Прочти свои стихи нашей московской гостье, она хочет послушать, как они звучат у нас на родном языке.

Девочка неохотно принесла тетрадку и не спешила ее открыть.

— Ну что же ты? — удивилась мать, накрывая на стол,— ведь ты вчера весь вечер сочиняла. Почитай.

а я пока похозяйничаю.— И добавила, уходя из комнаты: — Знаете, ее стихотворение напечатали в прошлом году в журнале «Змай».

— Прошлогоднее я не помню... а вчера я для себя сочинила... про свою подругу,— сказала девочка, хмуро глядя в пол.

Она мне нравилась. Мне кажется, что хорошо, если иногда человек что-то пишет только для себя. Так я и сказала девочке.

Возвращаясь в гостиницу, я подумала, что моя симпатия к ней вызвана еще и тем, что в детстве я пережила что-то похожее. Правда, мои переживания были более «трагическими». Я, тоже восьмилетняя, вдруг услышала, как мамина сестра — тетя Саша читает вслух какой-то женщине мое сокровенное стихотворение о любимой подруге. Кинувшись к тете, выхватив тетрадку у нее из рук, я завопила:

— Что ты сделала! Что ты сделала! Теперь я отравлюсь! Как Маруся. («Маруся отравилась» — такую песню пела наша соседка.)

— Отравишься? А чем именно? — спокойно спросил вошедший в комнату отец.

— Выпью чернила! — заявила я.

Через минуту отец уже протягивал мне ложку фиолетовых чернил.

— Ну вот, пей! — потребовал он.

Мой отец был врачом, знал, что ничего страшного со мной не произойдет, но, видимо, не хотел, чтобы я бросала слова на ветер.

С отвращением глотая фиолетовые чернила, я утешала себя тем, что страдаю за поэзию.

Недавно, перелистывая «Змай», я нашла на «детских» страницах стихи, подсказанные искренним чувством. Наверно, некоторые из них до поры до времени тоже хранились среди написанных только для себя. Особая душевность нескольких стихотворений вызвала у меня желание усилить их поэтическое звучание.

От имени Младена Клуге, ему 12 лет.

Старый мост

Старый мост,
Ты скрываешь
И радость и боль.
Корабли проплывают,
Плывут под тобой.

Днем и ночью река
Бьет тебя по ногам,
Но ты нужен пока,
Нужен двум берегам.

Ты их сблизил и свел,
Как хороший связной,
Свел под музыку волн
И под ветер сквозной.

Под тобой корабли,
Над тобой облака,
Вот ребята прошли,
Ты им нужен пока...

Ты устал, старый мост
С деревянной спиной...
Не покинет свой пост,
Не покинет связной.

От имени Гины Войнович, ей 13 лет.

Буки осенью

Платья зеленые
Скинув,
Стынут осенние буки.
Стынут.
Холодно вам,
Оголенные буки,
Голые ветви,
Как голые руки.

От имени Любицы Ивич, ей 12 лет.

Мама

Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.

Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.

Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
— Что ты спрятала в ладони?
Стали спрашивать меня.

Я ладонь разжала —
Счастье я держала.

Венгерские дети, особенно маленькие, показались мне очень вежливыми. В Венгрии принято так: здороваясь друг с другом, дети говорят: «Сэвас» или «Сиа». А здороваясь со взрослыми, говорят: «Чоколом». Это как бы обращение на «ты» и на «вы». И вот мальчик трех лет, проходя с мамой по улице в Будапеште, вдруг увидел за забором большую собаку. Он остановился, подумал и вежливо сказал ей: «Чоколом». Собака-то была взрослая.

И еще у венгерских детей богатое воображение. Конечно, оно свойственно детям всех стран, но показалось мне очень ощутимым в стихах и сказках, сложенных маленькими венграми. «Мечтанье» — так и называется стихотворение одной из девочек. А сказка в прозе, придуманная учеником 2-го класса «б» из города Гёделле (напечатанная в журнале «Кишдобош»), сама так и требовала переложить ее в стихи, что я и сделала.

Сказка о цыпленке, покрытом сажей

За горами, за долами,
За речными скатами
Ходит, занята делами,
Курица с цыплятами.

Для цыплят находит мать
Мусорные кучи,
Вам таких не разыскать,
Не старайтесь лучше!

Все цыплята как цыплята,
Только с маленьким беда:
Исчезает он куда-то —
Неизвестно куд-куда!

Куд-куда ушел ты,
Мой цыпленок желтый!!

Появился наконец
Черный маленький птенец,
Потемнел пушок на лбу,
Весь цыпленок в саже,
Говорит:— Я влез в трубу!
Там неплохо даже!

За горами, за долами,
За речными скатами
Ходит, занята делами,
Курица с цыплятами.

Ищет мусорные кучи,
А сынка, на всякий случай,
На ходу, как помелом,
Часто шлепает крылом.

Прежде чем
Влезать в трубу,
Вспомни ты
Его судьбу!

От имени гимназистки
Ильдико Бойдор

Мечтанье

Случилось чудо из чудес!
Пусть удивится каждый!
К нам залетели под навес
Две ласточки однажды.
И, покружившись раза два
Над нашим тихим садом,
Они уселись на дрова,
А я стояла рядом.

Нет, мне сначала и самой
Не верилось в удачу,
Но я дрова тащу домой
И ласточек в придачу.

Они по комнате парят,
То по одной, то обе в ряд,
Они вдвоем и по одной,
Играя, вьются надо мной
И носятся так шустро,
Что закачалась люстра.

Я им кричу:— Куда же вы!
Идите на сниженье!
Все это было. Но, увы,
В моем воображеньи.

А это было в Греции. Гостиница, где остановилась советская делегация, выходила на две улицы. Одну из них, довольно тихую, я быстро освоила, мы ходили по ней не меньше четырех раз в день — на заседания Международного конгресса, посвященного сказке и поэзии для детей. Как-то вышла я посмотреть, куда ведет другая улица, огибающая гостиницу, и очутилась на небольшой площади. Перейти ее казалось немыслимым. Отчаянно сигналящие машины мчались беспрерывно. Греки вообще любят громкие, замысловатые сигналы. Я застряла на зеленом островке перехода, несколько кустов с большими огненными цветами отделяли пешеходов от потока машин. В руках у меня была обычная синяя картонная папка. Стоявшая рядом со мной черноглазая девочка лет восьми вдруг громко вслух прочла: «Папка».

— Ты читаешь по-русски? — обрадовалась я.

— Она и по-русски читает и по-казахски,— ответила за девочку ее мама.— Мы сюда из Казахстана приехали, уже почти полгода. Вам куда идти?

— Никуда! — засмеялась я.— Просто у меня час времени, хочу оглядеться, где я живу.

Девочка, услыхав, что я из Москвы, сразу ко мне прилепилась. И за этот короткий час я узнала многое об одной семье и о переживаниях девочки, имя которой не буду называть.

Жили в Казахстане старая женщина, вдова, ее взрослый сын с женой и маленькая внучка. По национальности они греки. Бабушка иногда вспоминала, что у нее в Афинах есть родные, но все считали, что ее семья навсегда обосновалась в Казахстане. И вдруг в апреле 1974 года бабушка — а она была главой семьи — надумала переехать в Афины. Никакие уговоры не помогали.

— Сделайте это для меня и для моих родных,— настаивала она.— Да и вам будет хорошо, раз там фашистов теперь не стало.

— В конце концов нам с мужем пришлось подчиниться матери,— сказала молодая женщина,— мама успела повидать своих родных, но вскоре заболела. Все повторяла: «Ох, как тут дорого стоит лечиться!»

— И не вылечилась. Лучше бы мы все в Казахстане остались! — прибавила девочка.

— Никак она не может привыкнуть,— вздохнула ее мать.— Ты же мне обещала... Тебе же понравилось, когда ты на детском карнавале была... Мы и на древний Акрополь ее водили. Парфенон смотрели.

— Я привыкну,— невесело сказала девочка.

От имени девочки, чье имя остается неназванным.

Я привыкну

**Сначала мы по улицам
Оглохшие ходили.
Тут словно соревнуются
Гудки автомобилей.**

**Афины — шумный город.
Но можно выйти в горы
По улочкам старинным.
И я привыкну скоро,
Привыкну к вам, Афины.**

**Скучать по Казахстану
Не буду. Перестану.**

**Бывало, в Казахстане
Мы рано утром встанем.
И — в горы! Всем отрядом,
Со мной подружка рядом.**

**Я в школу не явилась,
Она так удивилась,
Вздыхала столько раз:
— Уедешь ты навеки!
Я знаю, что вы — греки,
Но ты здесь родилась,
Но ты здесь родилась...**

**Привыкну я к Афинам,
Привыкну, что с балкона
Издалека видны нам
Колонны Парфенона.**

**Мне привели подружку,
Курчавую гречанку.
Мы смотрим друг на дружку,
Играем с ней в молчанку.**

**И, чуть не целый день я
Учу, учу склоненья,
По-гречески учу,
А встретимся — молчу.**

**Скучать по Казахстану
Не буду. Перестану.**

**Но вдруг сломаю ногу!
Ведь может так случиться!
А нужно денег много,
Чтоб в Греции лечиться.**

**Тогда скажу я маме:
— Вернуться бы обратно!
Я вылечусь бесплатно
И встречусь в Казахстане
С ребятами, с друзьями.
И там я перестану
Скучать по Казахстану.**

В моем «Собрании детских сочинений» осталось многое, что хотелось бы «перевести с детского». Но, увы, неожиданно, в разгаре работы мне пришлось поставить точку. Выяснилось, что я могу подвести своих художников.

Часто встречалась я с ними: в детской художественной школе Краснопресненского района, куда ребята приходят после обычного школьного дня, и в Московской средней художественной школе, где, кроме общих предметов, ежедневно преподаются живопись, рисунок, скульптура.

Как мы работали? Дети собирались в одном из классов, а я каждый раз читала им два-три стихотворения, написанных от имени их сверстников. И вот что интересно: ребята смеялись или задумывались о чьей-то судьбе, но в то же время «слушали глазами». («Услышишь ли глазами голос мой?..»— так сказано у Шекспира в одном из его сонетов.) Мгновенно они решали, к какому стихотворению каждый из них сделает рисунок. Маленькая ученица художественной школы сказала своему отцу художнику:

— Папа, ты медленный художник, а я быстрый!

Когда впервые меня позвали посмотреть готовые работы, я вошла в кабинет директора и ахнула. Рисунки, разложенные рядами по всему полу, оставляли лишь узкую полоску от двери к письменному столу в глубине комнаты. Их было множество. Тревогу французских детей, тоску восьмилетней гречанки — все это наши «быстрые художники» сумели выразить каждый по-своему. Сколько рисунков, светлых и негодующих, реальных и фантастических, вызвал белый голубь мира, который борется с черной железной птицей войны!

Осталась ненарисованной только мечта финской третьеклассницы «Во сне увидеть обрученье». Некоторые девочки постарше вполне понимающе отнеслись к этой мечте, но не знали, как изобразить неведомый им обряд обручения.

Небольшие «осложнения» произошли в Либерии... Не счесть было танцующих африканцев, но на двух рисунках они оказались явно краснокожими. Многие рисовальщики изобразили девочку-африканку на зеленом холме среди ее друзей — животных. Любовь к ним всегда сближала детей всех стран. Но на одном из рисунков маленькая африканка была одета в советскую школьную форму. А на другом — африканская девочка под жарким солнцем Африки была укутана в теплое пальто с меховым воротником.

Я привыкла к встречам с детьми — утром в одной школе, днем — в другой, привыкла к тому, что преподаватели-художники охотно выкраивают время для этих встреч и очень интересуются работами детей, но приближался конец полугодия, и я стала замечать озабоченность на лицах педагогов: предстояли просмотры и экзамены.

— Объясните мне, что такое просмотры? — попросила я ребят.

Они сразу заволновались.

— Понимаете,— сказал мне один из мальчиков,— в каждом классе есть два шкафа: один хороший, другой плохой. Из хорошего рисунки идут на просмотр.

— А из плохого их уносят домой, родителям на утешение? — спросила я.

— Да,— подтвердил он под общий смех.

С каждым днем дети волновались все больше. Поняла я, что хотя рисуют они для книги с большим интересом, с удовольствием, но я невольно отнимаю у них время, необходимое, чтобы готовиться к экзаменам. Что поделаешь, нужно было расставаться с милыми моими художниками. После экзаменов у них начинались каникулы, а потом я должна была уезжать. Пришлось поставить точку в книжке. А может быть, и многоточие...

Эрнст ГЕНРИ



ПО СЛЕДАМ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Многие в наши дни — рецензент в том числе — любят читать детективные романы. Есть книги совершенно иного типа и содержания, которые тем не менее, если они удачны, по структуре сюжета тоже держат читателя в состоянии напряженности. Это произведения в так называемом жанре литературного поиска.

В ряду таких книг, вышедших в последние годы,— работы А. Дунаевского о четырех выдающихся людях — иностранных революционерах, живших на советской территории и присоединившихся к большевикам еще в дни Октября или даже раньше. Речь идет о швейцарце Фрице Платтене, чехе Ярославе Гашеке, француженке Жанне Лябурб и венгре Карое Лигети. Огни их жизни не погаснут в нашей истории. О том, как они жили у нас, надо знать.

Пересказывать их биографии здесь нет нужды. Пытаться обгонять автора в его теме рецензент не может и не хочет. Но сказать о том, как работает автор, стоит: не исключено, что это может в чем-то помочь начинающим литераторам. Дунаевский занимается не обычным биографическим повествованием с готовым материалом, а розысками материала — теми розысками, которые действительно как бы делают писателя детективом в хорошем смысле этого слова.

Он идет по запутанным следам, иногда почти вслепую, ищет концы оборванных ниточек и соединяет их, ловит кем-то где-то оброненные слова, сверяет все с эпохой и документами, перепроверяет и, наконец,— почти всегда — находит неразведанное, то, что могло затеряться навсегда. Автор ищет, и читатель ищет вместе с ним. Это увлекательно и вместе с тем нужно для истории.

Дунаевский занимается этим делом уже 20 лет. Он неутомим. Разыскивая следы удивительных людей, иностранцев из ленинской гвардии, он не сидит на месте, не ограничивается центральными архивами, а беспрестанно разъезжает из города в город, встречаясь с людьми, когда-то где-то знавшими кого-то, кто, может быть, сумеет навести на след. Автор, таким образом, больше половины своей жизни уже провел в пути.

Я завидую такому разыскательному рвению Дунаевского. Работа эта нелегкая. Ниточки, вившиеся в дни революции и гражданской войны, так легко обрывались и перемешивались, что теперь часто никак не сходятся. Где-то разрыв, и все надо начинать сначала. Требуются не только терпение, но и догадливость, точное знание революционной истории, способность не все брать на веру и, мне кажется, еще интуиция.

Люди, о которых пишет Дунаевский, как будто совершенно разные — и по национальности, и по характеру, и по социальному происхождению и профессии. Гашек — писатель, Платтен — рабочий, Жанна Лябурб — учительница, Лигети — журналист. И все-таки сколько в них общего — самого главного!

Это были первые зарубежные коммунисты - интернационалисты на советской территории. Каждый добровольно выбрал для себя жизнь, освещенную пламенем, полную опасностей. Каждому на родине грозили суд, тюрьма, быть может, смерть. Ни одного из них к их выбору никто не понуждал. Если бы они хотели, они могли бы завтра же уехать из голодной, бурлящей, окровавленной России назад, на сытый Запад.

Никто из них этого не сделал. Социалистическая революция в России была им дороже личного благополучия и обеспеченности, иначе они сочли бы себя беспринципными людьми и трусами. Что бы ни случилось с ними потом, пока они жили, они были счастливы, потому что ум, совесть, огонь в их крови — все сливалось в одно, а не противоречило одно другому, как это нередко бывает у других людей.

Нельзя забывать, что в 1917—1920 годах число искренних иностранных друзей партии большевиков не было так велико. Коммунистические партии за рубежом только еще возникали, в ряде стран их вообще еще не было. Те, о ком пишет Дунаевский, были, таким образом, в числе пионеров пролетарского интернационализма. Из людей такого склада и был в 1919 году построен Коммунистический Интернационал. Сегодня подобных людей много. Но тогда каждый ценился особенно высоко.

...Вот у Дунаевского фигура Фрица Платтена, человека, который в апреле 1917 года помог Ленину вернуться из Швейцарии в Россию, а восемь месяцев спустя своим телом защитил его от пули белогвардейца-террориста. Уже одним этим он, сын швейцарского столяра-краснодеревщика, вписал себя в историю.

Дунаевский следит за ним, начиная с того дня в сентябре 1915 года, когда в горной деревушке

Циммервальд Платтен впервые встречается с Лениным. В книге рассказывается, как Платтен держал вахту в закрытом вагоне, в котором Ленин с другими русскими революционными эмигрантами пересекал воюющую кайзеровскую Германию на пути в Петроград. Автор продолжает идти по следам Платтена, когда два года спустя, пробиваясь через пограничные кордоны и полицейские засады, швейцарец совершает нелегальную поездку в Москву и садится возле Ленина за стол президиума Первого конгресса Коминтерна.

Страничка за страничкой из того же как будто приключенческого рассказа: как Платтен по дороге домой попадает в финскую, затем румынскую, затем петлюровскую, затем белолитовскую, затем немецкую, затем швейцарскую тюрьмы. Еще три года спустя Платтен навсегда приезжает в Советский Союз: теперь он глава коммуны швейцарских рабочих в Сызранском уезде. Дунаевский как автор с ним почти до конца. Одна операция по розыску завершена. Предпринимается другая.

...Жанна Лябурб. Это совсем другая фигура: маленькая, хрупкая, миловидная француженка, как бы зажженная изнутри негасимым огнем. Дунаевский то и дело сравнивает ее с другой Жанной — народной героиней Франции, крестьянской Жанной д'Арк, в XV веке, согласно легендам, спасшей свою страну от врагов.

Действительно, в этих двух женщинах, разделенных пятью веками, есть одно общее: беззаветное, ни перед чем не останавливающееся вдохновение. Жанна Лябурб не поэтесса, она учительница и революционерка-подпольщица, но ее жизнь в самом деле похожа на балладу. Дунаевский пишет о ней не только пером литератора-документалиста, но и с нежностью. Жанна навсегда остается красивой.

...Что можно еще добавить к литературе о таком всемирно известном сатирике, как Ярослав Гашек? Оказывается, есть что. Автор и тут шаг за шагом прослеживает его жизнь в России в 1915—1920 годах — с того момента, как на фронте он, австрийский ефрейтор, попадает в плен, до тех дней, когда возвращается в Прагу, где напишет своего Швейка.

Кажется, ни один из героев Дунаевского не доставил ему столько хлопот и не перебрасывал в поисках нужных фактов так часто и так быстро с места на место, как Гашек. Но дело стоило этого. Книга подтверждает, что Гашек был не только одним из крупнейших и своеобразнейших писателей нашего века, но и настоящим революционером-интернационалистом. «Ваше место на фронте, где грозит опасность свободе всех народов, ваше место в России!» — призывал он людей за рубежом Советской республики в годы гражданской войны. Это и есть язык интернационалиста.

Жаль одного, но это уже не вина Дунаевского,— Гашек не успел дописать своего Швейка, показав его после пленения на русской территории в советское время. Как бы тогда реагировал на то и на тех, что вокруг него, мудрейший «идиот»? Например, если бы Швейк столкнулся с русскими белогвардейцами-колчаковцами?

...Карой Лигети. Поэт из Будапешта, журналист из социал-демократической газеты, сын кузнеца. Из тех же, что и Гашек, австровенгерских военнопленных, перешедших на сторону Советской власти и ставших боевыми коммунистами. После пленения отказывается от офицерских привилегий. Еще в апреле 1917 года сотрудничает с большевиками, после Октября — член Омского Совета и руководитель объединенного революционного комитета венгерских, чешских, немецких и словацких военнопленных, из которых формирует отряды бойцов за Советскую власть.

В те дни он пишет другу в Будапешт: «...Теперь здесь весна, но повсюду еще лежит снег. Не белый, а красный, как кровь... Я вижу здесь новую историю России, слышу ее первые гигантские шаги». Он умел предвидеть и тоже понимал, что такое интернационализм.

Год спустя на берегах Иртыша его схватили белогвардейские каратели-офицеры. Гибнет он в омском застенке Колчака. Когда это произошло, ему не было тридцати лет. И все-таки это жизнь, которую, как и короткую жизнь Жанны Лябурб, стоило прожить: так много чудесных, захватывающих дней в ней было; иной день богаче целого года...

Аккуратность и старательность автора при его розысках могу подтвердить из личного опыта. Я был свидетелем одного из описанных в его книге о Платтене небольших эпизодов, связанных с арестом швейцарского коммуниста в 1920 году в Каунасе, столице тогдашней буржуазной Литвы. Дунаевский рассказывает, как подпольный комитет коммунистической партии в Каунасе переправил жене Платтена Л. Розовской, сопровождавшей его, но оставшейся на свободе, пакет с листовкой по поводу ареста ее мужа. Упоминаемый Дунаевским «подросток, свободно говоривший по-немецки» и передавший пакет Розовской, и был я, в то время международный курьер Коммунистического Интернационала Молодежи, находившийся в Каунасе проездом из Берлина в Москву.

Помню какую-то гостиницу, где происходила встреча, смутно помню ту женщину и помню, как, возвращаясь к себе, я всячески старался замести следы, чтобы уйти от шпиков. Вероятно, мне помогло то, что я выглядел не юношей, а настоящим мальчишкой, из тех, кто бегает по дворам. По тем временам это было важным преимуществом.

Все эти книги Дунаевского читаются с живым интересом. Рассказывая о Платтене, Лябурб и других, автор ни в чем не придумывает героические образы. Эти люди б ы л и такими. Революция была не только их профессией, но и страстью. Такие люди жили всегда. Лябурб похожа на Луизу Мишель и чем-то еще—на Софью Перовскую. Платтен своим характером напоминает Карла Либкнехта. Все они вышли из школы Ленина.

Писать о больших революционерах как будто просто, разыскивать же неизвестное в их биографиях — дело трудное. У каждого из них что-то свое, неповторимое. Распутывать клубки событий в жизни больших и хороших людей большей частью гораздо труднее, чем обнаруживать дела плохих и ничтожных; у больших все движется намного динамичнее, разнообразнее и сложнее. Чтобы делать такую работу как надо, нужно иметь что-то от историка, что-то от психолога и что-то — это особенно важно — от следопыта. У писателя Дунаевского эти свойства есть.

●





Адольф
УРБАН

ВИТРАЖИ И МОНОЛОГИ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Поэтам внимают или с ними беседуют. Поэзия-монолог или поэзия-диалог: разные формы общения поэта с читателем.

Стихи Андрея Вознесенского («Витражных дел мастер», «Молодая гвардия», 1976) рассчитаны прежде всего на внимание. Он — «витражных дел мастер». С витражами не собеседуют: задирай голову, всматривайся в цветные лучи света и слушай, как они отзываются в тебе.

Вознесенский откровенно навязывает нам свои цвета, свою волю художника, свой темп:

Передрассветный штиль,
александрийский час,
и ежели про стиль —
я выбираю брасс.

Он не заманивает тайной. Он объявляет номер и исполняет его. Выстраивает лесенку образов-вопросов и ведет к той мысли, которую до поры держит про запас. Если даже Вознесенский рассказывает о себе, признается в своих чувствах, интимный его шепоток взрывается восклицанием, усилен микрофоном так, чтобы прошелестеть по всему залу: «Мы обручились временем с тобой, не кольцами, а электрочасами»,— этот интим уже возведен в символ. Личное чувство сопряжено со временем, так, что минуты «согреты милою рукой», растворяются в его потоке, приобретая его температуру.

Опять ситуация не для беседы.

Стихи Вознесенского можно слушать, но с ним трудно завязывать психологические отношения, построенные на взаимных уступках.

Мнения свои он выражает прямо. В ответах демонстрирует свою волю. Принимай таким, каков есть, или уходи, хлопнув дверью,— дело твое. «Подождите!» — кричать вслед не будут.

Отношения складываются ясные и прямые: «отечественная литература — отечественная война».

Это о том же, о чем он сказал в одном из диалогов с критиками: «В России искусство всегда общественно, гражданственно. Поэзия для нас не только услада. Она включает в себя и философию, и пророчество, и колокол, и вооруженную совесть, и исповедь. Она противостоит апатии и статичной буржуазности».

И о чем написал в стихах, посвященных Н. А. Козыреву:

Живите не в пространстве,
а во времени,
минутные деревья вам
доверены,
владейте не лесами, а часами...

Это как бы тропинка в философское государство времени, созданное когда-то Велимиром Хлебниковым.

Талантливый, а упрямый, гнет свою линию. Поговорил бы по душам, как бы только с тобой лично, доверительно, шепотком со слезой. Так нет ведь: «Скрымтымным».

К нему с вопросом: «Как вы к тому-то да к тому-то относитесь?» — а он: «Не скажу, не ваше дело. То, что я хотел сказать, я — сказал».

Вот уж впрямь конфликтная ситуация. Но что же делать, если Вознесенский чувствует себя прежде всего мастером? Если ему нужен зал с витражами, а не антикварная лавка с люстрой: «Мне предлагали (по случаю) елисеевскую люстру. Спасибо. Мала». И если он любую предложенную тему обсуждать не намерен, в мелочах копаться не хочет и раскаиваться в своем упрямстве не собирается? «Мир пиру твоему, земная благодать, мир праву твоему меня четвертовать».

Я думаю, придется смириться, что таков он, Вознесенский, и иным быть не может. Он даже

чуть сожалеет об этом, но все-таки не может:

Есть у Музы подвиг
страдный,
и посты монастыря,
и преступная эстрада —
как гулящая сестра!

Вдумайтесь: «преступная», «гулящая», но сестра!

Однако ведь и мы, читатели, человеки. В эстраду ходим не каждый день, и витражи для нас — праздник; не всюду их увидишь. А диалоги ведем ежедневно и с начальством, и с наступившим нам на ногу, и с самим собой. Отчего же нам с Вознесенским нельзя побеседовать? Вроде бы есть чему огорчаться и причина — жаловаться. Но Вознесенский опять уходит от «беседы». Злую волю он будет травить «ядом во имя истины». «Светлому Образу» — молитвенно поклоняться. Знаменитые контрасты Вознесенского. Все добро и зло — и увеличено, как линзой, усилено, будто микрофоном, разрисовано цветными пятнами, как на карте. Но к чему эта «игра»?

Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.
...Хлещет черная вода
из крана,
хлещет рыжая,
настоявшаяся,
хлещет ржавая вода из крана,
я дождусь — пойдет
настоящая.

Что прошло, то прошло.
К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

Как-то уже сложилось представление, если крупно, то — напоказ, если увеличенно, значит — ненатурально.

А что, если это «не эстрада»? То есть не просто вышел на сцену, отчитал, переоделся и ушел заниматься «скрытымным», хоть в карты играть с Букашкиным, хоть заявления писать на соседа, что без всякой пользы кормит рыжую дворняжку.

Что, если это действительно «ностальгия по настоящему» — по крупным чувствам, решительным поступкам, смелым действиям? Что она — всерьез и постоянна, что, в сущности, так построилась судьба? И —

...оказалось, что загадка
не в упоенье ремесла.
Стихи ж — бумажные
закладки
меж жизнью, что произошла.

То есть стихами-закладками отмечены подлинные побуждения, высшие напряжения и взлеты жизни.

А упоенье ремесла — это только форма, только ничтожная плата за потраченные силы. «Не горло — сердце рву».

Как тогда все становится на место: и волевой жест, и патетика, и резкость контрастов, и сатирическая горечь, и эпатирующий балаган, и эта «Молитва спринтера»:

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши хоть раз
в столетье
дыхание перевести!

Конечно, это не бытовой подход к «спринту». Его можно определить в терминологии «романтического максимализма». И осуждать можно: ненатурально, преувеличенно.

Да и вообще на привычный романтизм не похоже: вместо «Выхожу один я на дорогу» — спринт, автогонки, вместо демона — «Яблоки с бритвами», вместо «Молитвы» — «Телемолитва»...

«Жизнь не туманна — она железна». И романтический максимализм звучит в ней иначе.

Спокойней, конечно, его не замечать, еще удобней — осердиться на неестественность, позу, публичность, громкость. Но ведь на то он и максимализм. «Вольноотпущенник Времени возмущает его рабов».

Потому Вознесенский и монологичен, что собеседник тоже должен держаться его уровня и на «ностальгию по настоящему» не может отвечать «ностальгией» по жене ближнего.

Беседа как бы требует жертв, отказа от мелочей, от зыбкости чувств, от неопределенности оценок. Надо оставить лишь лучшее в себе.

Тут говорят о большой любви и о большой боли, тут сердятся всерьез и ненавидят яростно. Смерть Шукшина — это скорбь всей России: «Занавесить бы черным Байкал, словно зеркало в доме покойника». Память о погибших — это

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые
мужчины.
Из сирени, из роз,
из жасмина
возложите живые венки.

...Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы
сгорели.
Из жасмина, из белой
сирени
на огонь возложите венки.

Тут слова и действия торжественны и символичны. Они побуждают к очистительной и возвышенной скорби, к соборному гражданскому обряду. Патетика достигает большой напряженности и активности.

Андрей Вознесенский не дожидается от читателя милостыни сочувствия и тайного участия в его поэтическом монологе. Поэзия — дело всей жизни, и он мастер, который не только демонстрирует свое мастерство, но и воспламеняет творческие силы в других. Поэт, который стремится влиять на время, потому что

Умирают — в пространстве,
Живут — во времени.

И время должно быть емким, наполненным и прекрасным.



Бор. ЕФИМОВ

ВЕСЕЛЫЙ ТАЛАНТ

Мне не раз приходилось видеть Федора Павловича Решетникова на всевозможных творческих встречах, вечерах, сессиях и других, как принято говорить, «мероприятиях», где обсуждаются вопросы искусства, сталкиваются мнения, завязываются жаркие споры. Решетников, насколько я знаю, не большой любитель ораторствовать с трибуны и чаще всего располагается на приличном от нее расстоянии. Но в руках у него — неизменно — блокнот и карандаш. Острый, зоркий глаз художника всегда нацелен на кого-нибудь из выступающих или слушающих. А я, в свою очередь, незаметно наблюдаю за Решетниковым. Это очень интересно: он бросает быстрый взгляд на «объект» и делает неторопливое движение карандашом в блокноте. Быстрый взгляд — неторопливый штрих. Взгляд — штрих, взгляд — штрих...

Глядя на Решетникова, я понимал, что зарисовки эти носят характер юмористический: об этом достаточно красноречиво говорили чуть-чуть прищуренный лукавый глаз и легкая скользящая улыбка на губах, но никак тогда не подозревал, что присутствую при начале большой и интересной работы — целого замечательного цикла сатирических портретов, с которыми Решетников неожиданно для многих выступил на двух очередных Академических выставках и снова показал на своей персональной выставке, приуроченной к его семидесятилетию.

Я вспоминаю тот, как говорится, фурор, который произвели эти работы, и не погрешу против истины, если скажу, что решетниковские шаржи дерзко оттеснили на задний план внимания зрителей многие серьезные и «солидные» портретные работы.

Должен оговориться, что «неожиданность» такого яркого и выразительного выступления Решетникова-сатирика была только кажущейся. Ведь уже самые первые страницы творческой биографии художника были связаны с карикатурой и плакатом: еще юношей принимал он деятельное участие в сатирических агитационных росписях железнодорожного клуба на станции Гришино в духе «безбожных» плакатов Моора и Дени, а впоследствии систематически печатался в «Крокодиле», «Безбожнике» и других сатирических изданиях двадцатых годов.

Решетников щедро одарен от природы чувством юмора. Оно драгоценное свойство человеческого характера. Но мне думается, что это чувство становится стократ дороже, если проявляется в ситуации, когда людям совсем-совсем не до смеха. Когда оно способно вселить в окружающих бодрость, поднять настроение, прогнать уныние.

Именно такую великолепную проверку действием прошел решетниковский юмор на легендарной челюскинской льдине, когда веселые, бесхитростные и чуть-чуть озорные рисунки Решетникова в знаменитой стенгазете лагеря Шмидта «Не сдадимся» стали для полярников, пожалуй, не менее нужными и ценными, чем любой, подкрепляющий человеческий организм витамин. Трудно представить себе, какую благотворную роль сыграли в тех суровых условиях остроумные зарисовки и смешные шаржи, проникнутые жизнерадостным молодым задором, оптимистической уверенностью в благополучном исходе ледового испытания.

Один из участников челюскинской эпопеи вспоминал впоследствии, что свои рисунки Решетников выполнял в поистине нечеловеческих условиях. Ему «приходилось рисовать или сидя на корточках, сгорбившись, или лежа на животе. Несмотря на это, они были хорошо исполнены. Лагерь Шмидта восторженно реагировал на эти рисунки и карикатуры».

Замечательно, что заряд остроумия и веселости сохранился в этих рисунках Решетникова по сей день. И сегодня, больше чем сорок лет спустя, мы смеемся от всей души, разглядывая такие сделанные в обстановке серьезной опасности зарисовки, как «Отто Юльевич проводит беседу», «После ухода челюскинцев», «Страшная встреча» и другие. Такова неувядаемая сила юмора, меткой и умной шутки.

Однако Решетников показал, что он отлично умеет не только добродушно шутить, но и беспощадно разить врага оружием гневной, обличающей сатиры. Показал он это в годы Великой Отечественной войны, когда в качестве военного корреспондента-художника севастопольской газеты «Красный черноморец» неутомимо создавал метко бьющие по гитлеровцам карикатуры, плакаты, листовки. Сатира Решетникова, как и ряда других художников-фронтовиков, сражалась на переднем крае нашего изобразительного искусства, внося свой вклад в великое дело Победы.

Все же Решетников не стал карикатуристом-профессионалом. Им овладели другие творческие интересы, его влекли к себе безграничные художественные горизонты живописи, ее колористические и композиционные возможности, эстетика цвета и пространства, отражение красоты окружающего мира. И художник, обратившись вначале к пейзажу, портрету, натюрморту, приходит в полном соответствии с особым складом своей индивидуальности к тому творческому жанру, который принес ему всенародную славу — к жанровой живописи.

Вряд ли есть необходимость напоминать о таких созданных в военные и послевоенные годы жанро-



«Героическая троица» (Кукрыниксы. Дружеский шарж).
Темпера, пастель. 1975.

Из произведений народного художника СССР Ф. П. РЕШЕТНИКОВА



А. А. Дейнека (дружеский шарж). Бронза. 1962. Фрагмент.



Н. Н. Жуков (дружеский шарж). Темпера. 1957.



А. П. Кибальников
(дружеский шарж).
Бронза. 1962. Фрагмент.



Б. В. Иогансон
(дружеский шарж).
Бронза. 1962. Фрагмент.

вых полотнах, как «Достали языка», «Прибыл на каникулы» или прославленная «Опять двойка», явившихся прекрасными образцами глубокого проникновения в будни советских людей, тонкого и безошибочного раскрытия душевного мира нашей детворы. «Детский» цикл произведений Решетникова по праву вошел в число любимых картин советского народа, радуя уже не одно поколение зрителей. В этих работах во всей силе сказалось тяготение художника к той светлой и задушевной тематике, которую я обозначил бы словами замечательного нашего детского писателя Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Вихрастые и озорные, неугомонные и обаятельные — веселой, шумной гурьбой ворвались они в творчество Решетникова и, встреченные им с добрым гостеприимством, расположились на его картинах уверенно, по-хозяйски, со всеми своими ребячьими затеями и играми, радостями и огорчениями. С глубокой симпатией и знанием психологии своих юных героев пишет Решетников образы школьников, пионеров, суворовцев и других мальчишек, в которых мы вместе с художником угадываем будущих талантливых изобретателей, смелых путешественников, храбрых воинов, отважных космонавтов. В любую из этих и ряда других картин Решетникова неотъемлемым и органичным элементом входит его чудесный юмор. А превосходно отобранные комические детали дополняют и подчеркивают основную тему картины.

Но если надо, Решетников находит в своей сатирической палитре и злые, острые саркастические приемы и краски. Он умеет беспощадно бичевать и ядовито высмеивать. Таковы, например, его гротескные живописные памфлеты, без промаха ударяющие по спекулятивному шарлатанству абстракционистов, по антихудожественной и антигуманистической стряпне современных модернистов и «авангардистов».

Хочу, однако, вернуться к тому, с чего начал этот разговор о Решетникове,— к его сатирическим портретам, графическим и скульптурным. В залах, где экспонируются эти работы, всегда царит веселое оживление. И не мудрено! Шаржи на известных художников, артистов, литераторов, искусствоведов сделаны настолько остроумно, изобретательно и комично, что вызывают неудержимый смех даже у тех зрителей, которые не знают изображаемых деятелей в лицо. Тех же, кто может оценить удивительное портретное сходство этих веселых изображений, поражает точность и меткость характерных поз, жестов и других индивидуальных черточек, виртуозно схваченных кистью и резцом Решетникова.

Иногда, правда, можно услышать и такое: «Да какие же это дружеские шаржи? Избави боже от эдакого «дружеского» изображения!..»

Слов нет, решетниковские шаржи не принадлежат к числу тех слащавеньких и осторожненько «усмешненных» (самую малость, чтобы не обиделось изображаемое лицо!) рисуночков, которые тоже иногда именуются «дружескими шаржами». Вместе с тем Решетников никогда не позволяет себе ни малейшей оскорбительной бестактности, «обыгрывания» физических недостатков или чего-либо подобного, задевающего человеческое достоинство. Вот что говорит по этому поводу он сам: «Свои шаржи я делаю только на тех людей, которых очень хорошо знаю... Мне просто хочется весело рассказать о неповторимой оригинальности их внутреннего мира, сделать наглядным то, что раскрывается лишь в минуты наибольшей непосредственности поведения. В такие моменты привычные движения человека — поза, жесты, мимика — делаются как бы «прозрачными», и через них точно «просвечивает» самое сокровенное».



Ф. РЕШЕТНИКОВ. О. Ю. Шмидт на подступах к Северному полюсу. Дружеский шарж. 1932 г.

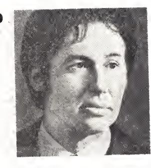
В этих словах Федор Павлович настолько ясно и четко формулирует свой творческий метод создания сатирического портрета, что комментарии к нему излишни. И в этом свете становится абсолютно понятной та работа «скрытой камерой» художника, то есть его карандашом, фиксирующим в блокноте позы, жесты и мимику людей, о чем я рассказывал выше.

Вот почему Решетников создает подлинные шаржевые шедевры, оригиналы которых, невольно улыбаясь и беспомощно разводя руками, вынуждены «капитулировать» перед острой, часто озорной, но талантливо-неопровержимой наблюдательностью автора, насквозь «просвечивающего» человека, попавшего под его, решетниковский, сатирический «рентген».

Мне лично до последнего времени везло: я как-то не попадал в поле зрения Решетникова. Но настал и мой час — я узрел на одной выставке свой портрет, соответственно интерпретированный Федором Павловичем. Что сказать? Как и все другие, беспомощно развожу руками и капитулирую: похож...

Владимир Рецептер





Петр и Алексей

Драматическая сцена

ПЕТР.

Молчи, крючок!.. Я поспрошаю сам.
Дай мне сперва в глаза ему вглядеться...
Дай провести рукой по волосам...
Как быстро в них не остается детства!
Вишь, на губах ни капли молока!
Вишь, ёжится... Отцовская рука
ему уже, выходит, неприятна.
Иль он боится!.. Ты чего, сынок!..
Вишь, красные пошли по шее пятна.
Краснеет, слава господу!... Дай срок,
дай только срок, он сам заговорит,
признается, зачинщиков укажет...
Гляди, гляди, крючок!.. Да он сердит!..
Куражится... Да и меня куражит.
Я, чай, ты знаешь, я бываю крут.
Не доводи до крутизны, Алешка!..
Ты помнишь, как тебе достался кнут,
когда с тобой, мальцом, была оплошка!..
А, видно, помнишь, не забылось, нет...
А, может, вся затея — в злую память!..
Прости отца!.. Ну!.. Жалко ли монет
для нищего, когда взойдешь на паперть!..
Прости отца, Алешенька, прости!..
А хочешь, хочешь, подогну коленку
перед моим наследником... Пусти!..
Пусти, крючок!.. Как шибану о стенку!..
Не смей, не смей мешать государю,
когда вершится дело об измене!..
С наследником престола говорю
в последний раз... Алешка, на колени!..
Ну, ладно!.. Быть по-твоему, крючок!..
Зови его!.. Где мастер твой заплечный!..
Здесь по закону дыба за молчок.
Хотел сберечь: чай, сын,
не первый встречный...
Бери его. Что встал!.. Бери, палач!..
Хватай клещами плоть мою живую!..
Гляди, слеза!.. Поплачь, сынок, поплачь!..
Ведь я с тобой Россию соревную.
Россию, право, истину, судьбу...
В слезах понять легко, слеза — учитель...
На кой же ляд ты затевал борьбу,
когда тебе к лицу слеза, обитель!...
Молчи!.. Молчи!.. Всё знаю!.. Всё читал!..
О, господи, как я устал смертельно!..
О, господи! Ужли живу бесцельно!!
И ты устал, Алешенька!..

АЛЕКСЕЙ.

Устал.

✪

Я оставлю несколько стихов
без намеков, без черновиков
о судьбе случайной и конкретной.
Мол, артист с фамилией смешной
жил, томился скукою сплошной
и грешил наукой кабинетной.

В юности беспечен и упрям,
верил опрометчивым словам,
в одиночку «Гамлета» исполнил.
Высоко искал звезду свою,
по дороге потерял семью
и однажды о душе вспомнил...

Мой читатель, зритель и судья,
мы поймем друг друга, ты и я,
встретившись с порой неоднозначной.
Я, сыгравший множество ролей,
жил одной-единственной — своей,
не совсем удобной и удачной.

Что же эти несколько стихов!
Без упреков, без обиняков
о надежде, о своей любимой!..
Погоди, читатель, погоди!
Я не знаю, что там впереди
в этой жизни неисповедимой!..

✪

Ты забыла о том, что бывает слеза,
и от первой слезы удивились глаза,
ты заплакала и засмеялась...
Вот тогда ты со мной и осталась.

Ты забыла о том, что бывает родня,
что прекрасно вот так посидеть у огня
и довериться нитке с иголкой,
слову тихому, паузе долгой...

Ты забыла, но вспомнила рядом со мной...
Вот тогда ты и мне показалась родной,
той, единственной, верной и кроткой,
долгой радостью в жизни короткой...

✪

Как вам нравится этот неприбранный дом,
где привычные вещи находишь с трудом,
и все время уходит на это!..
Как вам нравится этот заброшенный быт,
из которого, кажется, выход открыт
в обе стороны жаркого лета!..

Да, конечно, конечно, вы правы вполне!
Аккуратность и прежде была не по мне.
А точней, до последнего года...
Извините, звонят... Я открою... Сосед
просит в долг... Он всегда отдает... Или нет...
Да, вы правы, прекрасна погода...

Вы позволите, я вам добавлю вина!..
Вам не дует!.. Вы правы, почти тишина...
Остальные разъехались — лето...
Да не думайте больше об этом звонке!
Погадайте мне лучше по левой руке! —
И все время уходит на это...

Евгений БОГАТ

УДАР МОЛНИИ

ПОВЕСТЬ
О ЛЮБВИ
В ПИСЬМАХ

«Великие души остаются незамеченными... Великих душ гораздо больше, чем принято думать».

СТЕНДАЛЬ

Хочу рассказать историю отношений двух людей. Как явствует из названия, это повесть о любви. Хотя, пожалуй, и о чем-то несравненно большем, чем любовь,— если, разумеется, понимать ее чересчур обыденно и заземленно. И это повесть именно о любви при том ее понимании, которое было у Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты и — отвлечемся от литературных героев — у Абелляра и Элоизы, у Петрарки в его поклонении Лауре, у Дидро в его верности Софии Волан, у Стендаля (я имею в виду не гениального писателя, а страстно любящего человека), у Байрона, у декабристов, у Достоевского... и у тысяч незнаменитых мужчин и женщин во всех странах во все века,— которые ничуть не уступали великим мира сего в понимании, точнее в переживании любви, потому что и для них была она не утехой и не бытом, а поиском великой истины в человеческих отношениях и битвой, порой трагической, за сокровища человечности.

И это—то, о чем хочу рассказать—история истинно современная, потому что в душе сегодняшнего человека, порой неосознаваемо, живет тысячелетний опыт миллионов человеческих сердец с их неизреченной и неизрасходованной нежностью.

И это — история документальная: письма — не художественная форма (традиционная для романов и повестей о любви), а живая, подлинная запись бесконечных бесед человека с человеком, его с нею, хотя (открою писательский «секрет»),— на этой форме, казалось бы, совершенно естественной при наличии живых документов, я остановился после долгих исканий и размышлений. И вовсе не потому я мучился, что писем было немного, недоставало «материала» для постройки, а потому, что была их уйма — больше чем «нужно»; можно было, по обилию их, составить целый роман. И одновременно сострoить их в роман было нельзя по соображениям и литературным и этическим, ибо сотни страниц герой мой писал в том душевном состоянии, которое надо отнести, когда речь идет о реальном сегодняшнем человеке, к тайне личности. Он писал ей ежедневно, а порой и ежечасно, писал часто о том, что читать должна — жив он или умер — она одна.

Эта повесть во мне жила ряд лет, как история чувств и отношений, восходящих ко все большей человечности и одновременно к той возможности-невозможности полного, абсолютного понимания человека человеком, которой роковым образом бывает отмечена большая любовь. И жила она во мне, конечно, не как повесть в смысле литературного жанра, как некое богатство, из которого неизвестно что должно было родиться...

Я решил было написать об этой любви (потому что не написать о ней уже не мог) в повествовании, где его письма к ней были бы переплавлены в мой текст, вводящий в четкие «каменные» берега чувства и отношения, которым посвящены его бесчисленные обращения к любимой женщине. Но увидел, точнее услышал, как умирает живой голос героя, и вот избрал форму повести в письмах.

Известно, что при создании статуи надо отсечь «лишнее» от камня; мне работать было больнее, потому что лишнего не было, а была неохватная человеческая боль, надежды, доброта и страдания. И мужество.

Писем были сотни, написанных в разных душевных состояниях, при различных жизненных обстоятельствах и из разных городов. Я долго, долго отбирал, пока в каком-то озарении, идущем от них же — не от меня,—не увидел повесть с точным сюжетом, с собственным стройным миром, захватившую меня как нечто совершенно новое, хотя, казалось бы, живя ряд лет в данном «материале», я уже не мог резко ощущать его новизну.

И вот родилась повесть о любви в письмах.

Но пора, видимо, рассказать о том, как попали ко мне эти письма.

Несколько лет назад я получил из Тбилиси письмо от незнакомой молодой женщины — Ирины Д. (по понятным соображениям не буду называть фамилии героини данной повести).

«Я хочу, чтобы не была забыта,— писала она,— жизнь Эдуарда Гольдернесса...

Вас, наверное, удивит эта странная фамилия. А может быть, она Вам напомнит что-то, если Вы хорошо помните роман Андре Моруа «Байрон».

«...Да, Эдуард,— его, как говорили в старину, генеалогическое древо имеет известное отношение к Байрону. Первым браком отец великого английского поэта был женат на леди Холдернесс, она родила ему дочь — Августу, сводную сестру Байрона, которую поэт горячо любил.

Но замечателен Эдуард, разумеется, не этим. Если Вы читали латиноамериканского поэта-коммуниста Вальехо, поэтов Австралии, Кубы, стихи Эдгара По, то, может быть, обратили внимание на фамилию одного из переводчиков. Да, на его фамилию: Эдуард Гольдернесс. Но, пожалуй, и не этим он замечателен.

С пятнадцати лет Эдуард был неизлечимо болен. Но более героической, беспокойной судьбы я вокруг себя не видела. Дело не только в том, что он был поэтом, писал сонеты, переводил,— он осуществлял «связь человека с человеком», он создавал новые высшие формы человеческого общения, он облагораживал тех, кто жил рядом с ним. И это самое главное в нем и замечательное.

Самуил Яковлевич Маршак считал его своим другом, его знал Илья Эренбург, он чувствовал большую внутреннюю связь с Беллой Ахмадулиной...

Нет, нет, все, что я говорю, это не то, не то! Чтобы узнать его, Вам надо самому познакомиться с ним — в письмах, дневниках, бесчисленных обращениях ко мне...»

В конце письма Ирина Д. объясняла, что обращается ко мне, потому что одной из самых последних вещей, которую читал Гольдернесс, была моя повесть о любви «Ахилл и черепаха»...

По получении этого письма меня почему-то особенно заинтересовала история семьи Гольдернесс, может быть, ввиду особой моей, с детских лет, любви к Байрону.

«...Теперь вряд ли уже можно установить,— писала мне Ирина Д. во втором письме,— когда появился в России Фаррингтон Холдернесс, дед Эдуарда, чем он пытался заниматься в Москве, где у него и родился сын Роберт... Известно лишь то, что он и жена его умерли в течение года. Роберт остался круглым сиротой. Мальчика воспитала русская семья. Место рождения — Москва, родной язык — русский, родная культура — русская. Так была обретена косвенным, что ли, потомком Байрона новая родина.

Роберт вырос, стал инженером-строителем, женился на русской. У него родились две дочери, потом родился сын — Эдуард. Семья переезжала со стройки на стройку, пока, наконец, не осела в Грузии, в Тбилиси».

В этом же письме, точно обижаясь на то, что волнует меня особенно Байрон, а не Гольдернесс сам по себе, она послала мне, видимо, выхваченное наугад, одно из его писем к ней. И оно обожгло меня навсегда.

Я поехал в Тбилиси и вернулся с его письмами, с его тетрадями «для нее» и «для себя», с его сонетами и переводами. (Часть его стихов вошла в книгу «Искры», изданную потом в Тбилиси.)

Сейчас я оставлю читателя один на один с Эдуардом Гольдернессом, с его любовью и вернусь лишь в эпилоге, чтобы рассказать в нескольких строках о дальнейшей судьбе героини и, может быть, чуть-чуть о самом интимном и тайном...

Поскольку публикацию начинаю не с первого письма к ней (надеюсь, что читатель сумеет восстановить в дальнейшем первоначальное развитие этих отношений), надо объяснить, что Эдуард, несмотря на то, что ему долгие годы угрожала трагедия неподвижности, с которой он героически боролся, отнюдь не вел неподвижный образ жизни: он то и дело улетал в разные города, особенно часто в Москву (иногда даже его на носилках несли к трапу самолета), улетал по редакционно-издательским делам для того, чтобы «освежиться», и для лечения в столичных больницах.

Я позволил себе дополнить ряд его писем строками его сонетов и стихов.

Письма к ней

22.V.65 г. Москва.

Я сижу в номере один, никого не жду, да никого и не хочу видеть. Но человек не может чувствовать себя человеком, если он один. Наступает такой момент, когда ощущаешь это с особой силой и ясностью. Нужно любить кого-то больше, чем самого себя, чувствовать, что только вместе с ним ты — это ты, а он — это он. И это не должно быть каким-то дурманом чувств, а просто внутренней потребностью существа, исчерпавшего все другие пути саморазвития.

Почему так трудно становиться человеком, почему это так трудно?.. Почему надо затратить на это столько сил? Не знаю. Должно быть, просто потому, что самое лучшее не может не быть трудно достижимым, став повсеместным, оно утратило бы ценность, и нечто иное заняло бы его место. Я не знаю, почему это так, я знаю только, что всегда любил ее[1] чисто, от всей души, больше себя, больше жизни и все-таки только сейчас я чувствую, что моя любовь достигла вершины.

У меня дрожали руки, минут десять я просто не мог писать... В таком соединении, единстве, когда человек чувствует за другого больше, чем за самого себя,— растворяясь в другом, обретает себя,— когда беззаветная самоотдача во всем совершается без малейших посторонних помыслов о ней — это нечто такое, для чего нет слов.

30.VII.65 г. Москва.

Ира, только что кончился наш разговор по телефону, хочу написать вам — и не могу, не нахожу слов, чтобы описать то огромное чувство радости, которое охватило меня и не отпускает. Не знаю, зачем, почему. Ведь если трезво разобраться — причин для этого в разговоре не было. Должно быть, просто потому, что вы — сами по себе Радость! Моя радость!..

Как-то, после морской звезды — помните? — вы сказали, что подарите мне звезду с неба. Это может означать только одно — вашу любовь.

Я знаю, что я плохой, и все такое, я все понимаю, но все равно я люблю вас. И я прошу вас стать мо-

---

[1] В письмах любимой Гельдернесс иногда говорит о ней в третьем лице, как бы обращаясь к себе самому.



На снимке: Самуил Яковлевич Маршак и Эдуард Гольдернесс (фотография начала 60-х годов).

ей женой. Ну не сейчас, через полгода, через год (может, я стану лучше за это время)...

Если вам потом не понравится со мной (потому что в чем-то я ведь правда плохой), если вас больше привлечет какая-то другая дорога, вы всегда сможете свободно пойти по ней без малейшего упрека с моей стороны. И сколько бы я после этого ни прожил, я всегда оставался бы для вас другом, который сделает для вас все, что только в человеческих силах.

Я люблю вас!

Эдуард.

4. VIII.65 г. Москва.

После разговора с вами по телефону я долго сидел, закрыв лицо руками... Мне и сейчас трудно писать, не улегся в душе какой-то «озноб», во мне словно бы пульсирует вся боль и надежда жизни, и ничего не хочется делать, а только прислушиваться к этому ощущению, ничего не думая, ничего не желая... Почему я так люблю вас? Не знаю, просто «так надо»! Что делать с этим? Может быть, только так пишут стихи, так рождается в жизни что-то новое, так удаляется человек от обезьяны. Я не хочу писать стихов, да и не могу, я просто не знаю поступка, который мог бы соответствовать моему отношению к вам! «Что сделать мне для вас хотя бы раз?» Я чувствую себя одновременно и всесильным, потому что я могу сделать все! — и беспомощным, потому что делать нечего, и выходит, что я ничего не могу сделать. Я могу только любить вас, вернее, не могу не любить вас!..

Белла[1] читала вчера прекрасные стихи, стихи почти невероятного проникновения. Должно быть, она чувствовала, что никто, кроме меня, этого не понимает, и потому как-то особенно тепло проводила меня. И после таких вершин, взлетов — обыкновенное течение жизни... Но я не хочу, чтобы в моем чувстве к вам были какие-то спады.

Есть в мире настоящая поэзия. У меня было несколько соприкосновений с нею. Одно из них — Федерико Гарсиа Лорка.

(Когда умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда умру... В апельсиновой роще старой, в любом цветке. Когда умру, буду флюгером я на крыше, на ветру. Тише... когда умру!)

18.VIII.65 г. Тбилиси.

Я прямо чуть не умер от желания позвонить вам сегодня в 9 утра (я остался один). Но решил, что вы, может быть, спите, а ведь вчера вам нездоровилось... Вот и взялся вместо телефона за перо...

[1] Б. Ахмадулина.

Вы просто представить не можете, как я «изголодался по вас» за это время! Я почти не спал эту ночь, столько мыслей теснили одна другую после нашего первого по возвращении разговора вчера вечером. Я не знаю, почему это так, и не пытаюсь понять. Как я уже говорил, чудеса потому так и называются, что они необъяснимы, а как говорится в одном стихотворении, «любовь — единственное в мире чудо».

Вы сказали, что в записях должно быть и такое, чего нельзя показать другим. Может быть. Есть вещи, о которых я почти ни с кем не могу говорить, ибо они — слишком сильный яд; из тех, кто способен их понять, я могу намекнуть на них только самым сильным и чистым духом. Один философ говорил, что писать следует лишь тогда, когда не можешь не писать, и только о том, что уже победил. Я иногда пишу о том, чего я «не победил». Но, может быть, вы считаете, что не все записи можно показывать, потому что для сохранения своего «я», для его самобытного развития нужно иметь в душе уголки, куда никто посторонний не заглядывает? Разумеется! Только их очень мало у человека, уже сумевшего найти себя, идущего своим путем. И не надо специально заботиться об их сохранении, это получится само собой.

Разве можно высказать себя всего?! Как я ни пытаюсь, я не умею до сих пор выразить вам и сотой доли того, что хотел бы! А если бы я вдруг и сумел высказать сегодня «все», так ведь завтра у меня уже накопится в душе нечто новое, чем снова можно будет поделиться. Нет, этот процесс безостановочен, неисчерпаем — лишь только было бы с кем поделиться самым главным, что есть в тебе. Человек не может один без этого расти, развиваться, быть человеком! Это так же немыслимо, как хлопать в ладоши одной рукой, взлетать на одном крыле... Один человек обречен на поражение, как бы он ни старался.

Я позвонил без двадцати двенадцать. Никого не было...

2.IX.65 г. Тбилиси.

У меня такое ощущение, словно я все это уже знал... Ведь вы мне все это говорили, и даже гораздо больше этого,— и хорошего и плохого,— правда, не сразу, но ведь я помню каждое ваше слово, и все это складывается одно к одному...

Да, все ясно, все, очевидно, так и должно быть, все до того ужасающе ясно, что просто нечего и говорить, хотя во мне теснятся тысячи мыслей, бессвязных, хотя и связанных внутренним единством, бесполезных, хотя и единственно мне нужных, очень разных и в то же время единых, потому что все они устремлены к вам...

Мне каждую фразу хочется заканчивать многоточием, потому что никакие слова не могут выразить того, что я чувствую... Все, все укладывается в одно всеобъемлющее слово: люблю... Ну вот, и над всем этим ваше «нет», «вымученное, выстраданное, давно выношенное...». Я всегда знал это и считал справедливым.

Я за последние месяцы стал очень плохо думать о себе, ничто другое не могло и не может объяснить ваши некоторые слова и поступки. И порою охватывает какое-то безмерное отвращение к себе, хочется просто уничтожить себя...

Но все равно мне любить вас — как дышать. Люблю вас со всеми «пороками», «грехами», «ужасно робкую и мнительную», «грубую и нетактичную», «ничем не привлекательную» и т. д. Люблю вас за то, что вы мой человек в том лучшем, «чудесном», что есть в вас, чего нет у других. Вы подвергаете ценность этого сомнению, ибо оно «не нужно людям». Каким людям? Много ли вы встречали людей, для которых жизнь — «творчество»? Люди иногда хотят от жизни наслаждений, успеха, благополучия, спокойной совести, удовлетворенного тщеславия, элементарного благополучия, прикрытого красивыми словами. Порой они даже бывают искренними и неплохими людьми, ибо ничего иного они и не видят (или боятся увидеть?). Но кто понял, почувствовал иную, творческую жизнь, тот уже не вернется в их мир.

Какие люди вам нужны, чье мнение вам дорого? Где ваш путь?

Вы человек высшего, чудесного, творческого мира.

Сейчас я поеду опять в Москву на месяц или полтора. Может быть, лягу там в больницу. А потом вернусь, потому что я не могу долго быть без вас.

Вы должны позволять мне делать что-то для вас, должны обращаться ко мне за помощью, если вам что-то понадобится. Обещайте мне это.

Я могу только благословлять день нашей встречи. Будьте требовательной к себе и доброй, прошу вас, старайтесь быть доброй к себе, хотя бы ради того, что я всегда старался быть добрым к вам. И если моя любовь может помочь, научить вас хотя бы этому, то все в моей жизни было не напрасно.

(Мне кажется, что ты сама поймешь, и я об этом говорить не буду... Бывает, что словами отпугнешь любовь — единственное в мире чудо. Чуть двинувшись, рука тебя нашла... Сближаются уста, дрожат ресницы... И— обрела два голубых крыла, и устремилась ввысь любовь, как птица! Пьянящая бескрайность бытия!.. Восторг и боль! Вся мощь и хрупкость жизни!.. Навеки, да?! Ведь лишь об этом я мечтаю, как изгнанник об отчизне! Давай побудем молча полчаса. Безмолвие рождает чудеса.)

2.I.66 г. Москва.

Только что кончил говорить по телефону с вами. (То есть, конечно, не только что, минут пятнадцать назад; надо было поработать по хозяйству, убрать после завтрака, и т. д., на это у меня уходит сейчас много сил и времени, видно, я быстро устал из-за нездоровья, ведь я и ехал сюда больным не для шуток.) Тут грипп, да нет буфета на этаже. (Товарищ занес электроплитку, устроил ее в ванной, где штепсель для электробритвы.)

Но больше этих маленьких неурядиц меня утомляет то, что люди вокруг меня часто не понимают друг друга, какие-то вялые, устало ограничившиеся, недовольные жизнью, в душе «несчастные».

А я не люблю «несчастных». Какого черта! Жизнь должна сама по себе радовать человека, люди, которых она не радует, противны. Счастье — несчастье: что за торгашеский подход к жизни! Из-за него люди и утрачивают часто ощущение радости бытия. Радость должна быть столь же неотъемлемым элементом жизни, как дыхание. Попробуйте не дышать минуту. Ну а вторую? Тут-то и поймете, что дыхание — радость — жизнь (стоит ли добавлять: любовь?.. Из данного опыта это вытекает не слишком наглядно, но ведь формула: жизнь — любовь — давно у нас с вами доказана).

Как бы мне ни было плохо, я не могу думать о себе как о «несчастном». Ну был бы я другим, «счастливым» человеком, и вы полюбили бы меня, так

что вы полюбили бы того, другого человека, а не меня. Какое мне до него дело.

Я хочу, чтобы вы меня полюбили, я хочу получить то, что я заслуживаю. И вы мне это даете.

Хотя временами мне кажется, что я заслуживаю капельку большего, чем вы мне даете. А, может быть, я хочу большего, чем заслуживаю? Но человек и должен хотеть немножко большего, чем он заслуживает. Иначе что заставило бы его стремиться быть лучше? А вы повторяете назидательно: «Кто много имеет, тому хочется большего». Да, хочется. Безгранично большего. Неисчерпаемого. Безгранично хочется. И это тоже жизнь. Может быть, именно за такое восприятие жизни вы и прозвали меня на прощание «сумасшедшим»?

18.I.66 г.

«Почему вы любите меня?», «Почему я одна вам нужна?», «Почему вы не боитесь ударов, которые я вам невольно наношу?», «Почему вы хотите посвятить мне жизнь и делать меня душевно все лучше и все чище, почему?» (Из ваших писем.)

Ну вот, попытаюсь ответить, почему.

Ощущение своей связи, общности со всеми людьми возможно только через общение с отдельным конкретным человеком. Общаться с миром, Вселенной можно только путем общения с отдельным человеком. Общаясь с некоторыми другими людьми, я всегда общаюсь с каким-то мирком, то меньшим, то большим, иногда даже очень большим, но всегда, в конечном счете, замкнутым в себе, ограниченным. Общаясь же с вами, общаешься с беспредельным.

Очевидно, это и есть любовь.

Какие-то, отдельные прорывы в беспредельность могут быть и в общении с другими людьми,— ведь все люди — люди, то есть в чем-то не лишены подлинно человеческого,— но человек, дающий тебе это ощущение в объеме, которого ты просто не можешь вместить,— это именно т в о й ч е л о в е к. Так вот для меня такой человек именно вы. Почему?!

Постараюсь собрать все доступные мне трезвость, логичность, спокойный расчет. Почему?..

Ну, буду говорить очень и очень объективно. Есть ли красивее вас? Сколько угодно. Умнее? Сколько угодно. Добрее, порядочнее, трудолюбивее, аккуратнее, тактичнее, вежливее и т. д. и т. п.? Сколько угодно. Правильно? Правильно.

И тут же вся эта правильность идет к черту. Для меня вы умнее, красивее, добрее, правдивее, лучше всех! Во всех других эти качества для меня, по сути, мертвы; в вас они живы, они живут и во мне, заставляют и меня стремиться быть таким.

Я встречал много женщин и талантливых, и умных, и красивых, и человечных. Знакомство со многими из них очень много дало мне. Один раз, в пятьдесят третьем году, я вам говорил, было у меня такое духовное совпадение, которое я могу назвать любовью. Очевидно, оно было рождено моей огромной потребностью любить. Эта потребность вызывала и ряд других более или менее сильных увлечений, но все они кончались довольно быстро...

Они кончались быстро, потому что, испытав когда-то то, что можно назвать настоящей любовью, я быстро почувствовал, как это несовместимо с малейшей ложью, фальшью, неискренностью, расчетом.

Но если мне хочется в жизни чего-то истинно настоящего, то почему бы не быть и еще людям с такими же стремлениями? Разве я лучше всех?

Но я отвлекся. Надо объяснить логично, почему все эти умные, добрые и т. д.— ничто для меня по сравнению с вами.

Вы ничего не боитесь. Вы, такая «слабенькая трусиха», ничего не боитесь. Вы видите все ясно, все плохое и кругом и в себе. И эта ясность зрения — огромное бремя. Но вы не пытаетесь его себе облегчить какими-то шорами, каким-то самообманом. Вы маленькая, слабая, беззащитная, грешная (употребляю ваше слово), но и бесстрашная. И сильная.

Да, вы и капризная, и слабая, и резкая, и эгоистичная, и все, что угодно. Но вы честная, предельно честная и не можете быть иной.

Вы делаете, может быть, не все, что можете, но вы делаете бесконечно много. Да при всей вашей «бездеятельности», тоске, срывах вы именно д е л а е т е очень много, и за это я люблю вас. Вы заставляете меня верить, что в жизни, в человеке есть подлинно прекрасное и великое. И за это я люблю вас.

23.I. 66 г.

Я хочу сказать всего несколько слов. Казалось бы, о чем говорить, когда сказано было вроде все, да еще в какие-то мгновения наивысшего самопознавания, а, несмотря на это, загадка остается прежней... Наверное, надо подвергнуть себя каким-то новым, неизведанным испытаниям, трудностям, опасностям, чтобы жизнь либо подсказала еще что-то, либо уж замолкла совсем, раз не может сказать больше ничего путного, не может подсказать поступка, который мог бы помочь мне стать вам ближе и нужнее.

Нет, не должны люди жить среди снегов и льдов арктических пустынь (это — в ответ на одно из ваших писем).

Может быть, их задача в том и состоит, чтобы делать друг другу жизнь теплее.

Помните, у вас замерзли ноги 8 ноября. Вы несколько дней не могли согреться.

Вот мне чудится, зашли вы с мороза, озябшая, сели на стул напротив, подули на пальцы, засунули руки в рукава. И ноги у вас в открытых негреющих туфлях и тонких чулках. Вы вынули их из туфель, потерли друг о друга, ну и положили бы на подушку: можно было бы взять их крепко и осторожно, приложиться к ним щекой и чувствовать, как тихо пошевеливаются, медленно согреваясь, озябшие пальчики...

Если есть в вас хоть капля доброты, вы не рассердитесь на то, что я написал это. Наверное, именно в такие минуты человек чувствует, что только для них, для минут этих, и существовала вся предыстория Вселенной...

Не сердитесь, я только и хочу, чтобы вам было по-настоящему тепло и хорошо на земле. Чтобы вы были веселая и добрая. Но я заговариваюсь... Хватит...

Не сердитесь... Подумайте обо мне, если можете, тихо и добро.

9. II. 66 г.

Вечером принесли второе ваше письмо. Самое нормальное и человечное из всех ваших писем: самое правдивое... Но мне трудно отвечать на него. Я вдруг так ясно увидел, насколько умнее и так-

тичнее нужно быть в обращении с вами, насколько глупо и неуместно могут выглядеть разные мои «умные» мысли и шутки. Одна надежда на то, что ваша интуиция поможет вам видеть за ними мое подлинное отношение к вам, которое, право же, лучше моих слов и поступков. Наверное, надо любить вас больше, самому быть больше, чтобы понять, что именно вам нужно в жизни, и дать это вам.

10.II.66 г.

Увы, я сегодня, кажется, еще меньше, чем вчера, способен написать что-нибудь толковое. Снова вечер, снова я один.

Вы пишете, что «умные мысли» (Стендаля, Толстого, Ромена Роллана) не могут вам помочь. Но ведь это люди куда как не глупее нас, и часто им бывало не лучше, чем нам, и ведь мысли эти не только о них, а и о нас. Они — наши друзья. Они — мы.

Поищите же каких-то последних шагов к истине, и с их помощью мне очень хотелось бы и самому помочь вам хоть чем-то. Ну хотя бы тем, что я помог вам поближе познакомиться с ними, с Шекспиром.

А может быть, и тем, что я на деле пытаюсь доказать вам, что должны быть и могут существовать по-настоящему человечные отношения между людьми.

Но за это я сам должен быть благодарен вам. Без вас я не знал бы этого. Все-все, что вы даете, заставляет меня любить вас еще больше.

4.III.66 г.

Вчера у меня выдался какой-то хороший момент. Одиннадцатый час, свет в палате выключен, все спят, я слушал наушники — Моцарт. Ничего, что больница, ничего. Тишина, покой, музыка, какие-то ясные мысли о вас. И вдруг все как-то встало на место, и на душе хорошо, и хочется жить, работать.

Но работать мне трудно еще и потому, что этим как-то очень противопоставляешь себя окружающим, отрываешься от них. Неизбежны вопросы соседей по палате: «Чего это ты пишешь?» Объяснять — нескромно. Да и глупо показывать неоконченные переводы испанских стихов. А не показывать — тоже некрасиво. Впрочем, люди разные. А суть в том, что я, несмотря на хорошие минуты, очень устаю от этой обстановки. В тбилисских больницах хоть условия в общем и хуже, но легче уединиться, обособиться...

А иногда вдруг такая тоска берет и хочется одного: видеть вас, слышать ваш голос, смех... А кругом — жизнь, настоящая жизнь. Люди волнуются, страдают, уходят на трудные операции, через несколько дней возвращаются в палату из послеоперационных боксов, а один, сосед мой, все порывавшийся мне помогать, не вернулся. Да, все эти люди живут по-своему, по-настоящему.

Чувствую, что все они мне близкие, родные, и нужен какой-то «мостик» к ним. Мой «мостик» к людям, к жизни — вы. Вы чудо, которое я хочу постигнуть.

Вам самой дано творить с людьми чудеса, но... из меня чуда не получается. И в любви и в искусстве бывает нечто подобное удару молнии, когда тебе открывается истина, с которой легко и жить и умереть...

1.IV. 66 г.

А в ночь на 29-е я умирал. Жар, духота, кровь свертывается в жилах и не подает в мозг кислорода. А я не хочу умирать.

Нельзя.

И, наконец, к утру несколько минут полудремоты. Сон: я в последний раз в каком-то номере гостиницы. Стою у стола. Входите вы, босиком, в чем-то длинном, белом, с полураспущенными волосами. «Зачем вы здесь?» «Просто пришла».

И я опять в номере один, лежу на диване, не могу встать.

И снова входите вы. Вы на миг, но крепко приложились щекой к моей щеке — правой...

Я один в номере, мне совсем уже плохо, но снова на темном прямоугольнике двери появляется ваше белое видение.

К вечеру меня спасли.

Но зачем вы приходили?.. Зачем? Может быть, чтобы не дать мне умереть?

2.IV.66 г.

Неужели вы не заметили, как мало значит для меня все внешнее? Я вовсе не хочу, чтобы меня считали «железобетонным», мне так же больно, как и другим людям, а часто гораздо больнее, но в страхе боли есть что-то трусливое, слабое, рабское, можно утратить самое драгоценное — чувство человеческого достоинства.

Я не желаю подчиняться разной мрази, унижаться перед ней. И отсюда рождается и гордость, и сила, и стремление возвыситься не только над такой мелочью, как боль, но и над всем ничтожным в жизни, стремление жить и любить по-настоящему.

Жизнь захватывает меня, как какой-то бурный вихрь, но в то же время словно и бросает меня с размаху в болото (мои болезни), из которого выбираться так неимоверно трудно (если бы вы почаще протягивали хотя бы свой мизинчик!).

Надоело повторяться, но ведь жизнь — это любовь, а потому я и люблю вас всей силой своего существа.

Страстность моего влечения к вам вовсе не требует бетховенских бурь, нет, мне хотелось бы любить вас с п о к о й н о, но чтобы это было спокойствием музыки Баха; вобрать в себя весь трагизм жизни, подняться над ним, ничем не поступившись, избавиться от бессмысленных, бесцельных страданий, стать по-настоящему большим, добрым, любящим — ч е л о в е ч н ы м.

Я такой человек, которому нужно, чтобы вам было как можно больше «хорошо» и чтобы это было как можно больше благодаря мне. Вот венец моих эгоистических желаний! А теперь уже ваше дело судить, будет ли мне когда-нибудь хорошо или нет. И жизнь мне будет нравиться до тех пор, пока я буду чувствовать, что могу делать для вас что-то хорошее, чего у вас не было бы в жизни, не будь меня. А когда от вас долго нет вестей, то у меня утрачивается ощущение этого. Так было и перед операцией (вы ведь не сердитесь, что я утаил от

вас день, когда мне ее делали),— от вас шли в то время чисто «информационные» письма, те самые, что вы назвали «сухими и черствыми». Но хватит, вы еще скажете, что я заставляю вас чувствовать себя «виноватой». Нет, нет и нет! Никогда я не считал вас ни в чем виноватой! По-моему, вы человек исключительно честный. Особенно перед собой, и поэтому никогда и ни в чем я вас не виню. И хотя мне иногда бывает больно, я думаю не о собственной боли, а о вашей, потому что вы ведь все видите...

Я люблю в вас земного человека,—живого, может быть, слишком хорошего, чтобы быть счастливым и... слишком слабого, чтобы не почувствовать себя беззащитным.

А вчера я услышал — в коридоре стучат каблучки, торопятся. Думаю: в первую палату к старикам молоденькие не ходят, во вторую— не к кому, кроме меня, день неприемный. Так и есть. Заворачивает к нам, в первую секунду не узнаю, потом узнал: Белла.

P. S. А если бы вы вдруг вошли в палату, я не удивился бы, просто занялось бы сердце, захлестнуло бы грудь горячей волной, я закрыл бы на миг глаза, а открыв их, рассмеялся бы, взял вас за руку и сказал бы какие-нибудь первые пришедшие на ум, ничего не значащие слова, потому что слов, равнозначных такому событию, нет и быть не может.

6.V.66 г.

А мне сегодня снова лучше! Это, конечно, потому, что вы оказались вчера дома, когда я позвонил. Отсюда, из московской больницы, страшно трудно до вас добраться по телефону. Надо умолять, интриговать.

Вчера было у меня много народу.

Единственное мое удовольствие здесь — писать вам. Но это лучше делать мысленно. На бумаге «не то», а потом... мышление у меня стало какое-то разорванное, хаотическое, ничего не могу толком сообразить. Хочу видеть вас, может, тогда в мозгах что-то станет на место.

Злитесь на себя побольше, это полезно. Но... вопрос: «что мы будем делать с вами, с такой?..» Есть, должен быть ответ и на этот вопрос. И напрасно вы пишете, что у меня всегда один и тот же ответ на все вопросы. Нет, не один и тот же, и, может быть, я еще что-нибудь придумаю, хотя вы и не верите в это. Наверное, мне нужно было бы для этого любить вас как-то лучше, сильнее, самоотверженнее, а я сейчас как-то «не в форме», нужно вырваться отсюда, войти в норму, и, может быть, все последние испытания и дадут мне возможность добавить к моему чувству к вам что-нибудь нужное, полезное для вас, чего я раньше не мог. Я не хочу, чтобы ваша жизнь рассеялась в пустоте, вы достойны совсем другого и не предавайтесь самобичеванию в письмах ко мне. С вами нужно быть очень добрым, я, наверное, этого не умею в должной степени.

(Цель жизни — жизнь. И если ты живешь, ты должен быть борцом во имя жизни. Служи любви, искусству иль отчизне — ты все равно на этот путь придешь. Пример любви Фархада и Ширин кому для жизни не прибавит силы? Родили жизнь безмолвные могилы отчизну спасших в дни лихих годин. В борьбе за жизнь всем могут счастье дать расчет и воля, смелость и упорство. Но трижды счастлив, кто в единоборство вступал со смертью, чтобы побеждать. Ему дано бессмертие познать! ...За это счастье можно жизнь отдать...)

19.V.66 г.

Ну, вот мне сказали, что ориентировочно можно планировать выписку на вторник, то есть на двадцать четвертое. Встреча с вами надвигается, как горная лавина. Нет, я вполне нормальный, просто очень истосковавшийся по вас! По жизни!

Я все думаю: прошли тысячи поколений, миллиарды людей, и в будущем им «несть числа»... Французские ученые выдвинули гипотезу о том, что свет от первого огня, зажженного человеком, еще несется где-то в пространстве, и будь у нас соответствующие приборы, его можно было бы обнаружить. Так же бессмертен свет вашего существования и моего тоже, моей любви к вам. Это уже нельзя уничтожить.

В минуты, когда думаешь об этом, клянешь собственное косноязычие.

Мне все же кажется, что иногда мне удается сказать вам что-то нужное о вас, о моем чувстве к вам, и если бы собрать все это вместе, то получилось бы нечто цельное и даже необходимое людям. Но, к сожалению, это теряется в потоке моих беспомощных писем, моим мыслям не хватает единства и цельности, которые помогли бы вам лучше меня понять. А мне бы хотелось сказать вам нечто, может быть, даже и для других не бесполезное, способное помочь им взглянуть на мир, на жизнь правильными, здоровыми глазами, умеющими видеть бесконечную красоту и ценность жизни.

А вы должны любить себя как следует и быть к себе не снисходительнее, а, повторяю, добрее. Помните у Вальехо: «А еще хотел бы я добрым стать с самим собой во всем».

9.VI.66 г. Тбилиси.

Ну вот я и вернулся... Теперь пишу из того города, в котором живете и вы.

Все завидуют моему «оптимизму» и жизнерадостности, тому, что люди ко мне тянутся, тому, что в доме у меня полно народу, и никому не приходит в голову, какой ценой за это заплачено...

А у меня на всякий случай и на всю жизнь две просьбы.

Во-первых, знайте, верьте, что вы гораздо больше такая, какой вижу вас я (право же, я все-все вижу, «колючая грешница!»), чем та, которую видят все остальные, в том числе и вы сами.

А второе — вопреки всем вашим возможным супругам доверяйте мне больше всех на свете (для меня это и значит любить по-настоящему, хотя мое отношение к вам вовсе не включается в рамки «платонического»), знайте, что любая частица вашей души, любой поступок будут мной поняты и приняты, найдут у меня достойный вас (а значит, и меня, который сумел разыскать и разглядеть вас такую, со всем, со всем, что в вас есть) человеческий отклик и словом и делом.

Ну, а еще я хочу сказать, что все «внешние» беды, включая самую страшную из них — смерть,—

все это не так уж много значит. Ведь все люди умрут, а у настоящего человека всегда должно быть что-то, что для него дороже жизни, выше смерти...

15.VI.66 г. Тбилиси.

Мне нужно знать, что мир для вас лучше, если в нем есть я. Иначе ради чего я переносил бы все эти бесчисленные пытки? Я беспрерывно люблю вашу человеческую радость, я хочу сделать все, что могу, чтобы она цвела у вас в душе.

Помните, я писал вам: чтобы ответить на вопрос: «почему я люблю именно вас?»,— надо рассказать о себе: что я думал и думаю о людях, о мире, надо рассказать о моем детстве, о моих исканиях истины...

Тетрадь для нее

Почему вы, именно вы мне так бесконечно, неимоверно нужны?

Может быть, попытка понять, что я такое, для чего я жил, во что выкристаллизовалась основная задача моей жизни, сумеет помочь решить этот вопрос.

Ну, так что же я такое, зачем я?..

О раннем детстве вряд ли можно сказать многое. Помню только, что я был очень впечатлительным, с непомерно развитым воображением... Помню такой случай. Отец взял меня с собой в деловую поездку в какой-то недалекий прибрежный пункт. Мы жили тогда в Новороссийске, было мне четыре-пять лет. Надо было уже ехать обратно (катером), шли мы по полусельской местности, отец с сослуживцем впереди, я чуть сзади. Вдруг мне приглянулся какой-то цветочек недалеко от дороги. Я подошел к нему, наклонился, взял за стебелек и... посмотрел вслед взрослым. Они отошли уже довольно далеко, и меня вдруг охватило ощущение заброшенности: они уйдут, уедут, забыв про меня, и я останусь один «на чужбине»! Я оставил цветок и со всех ног бросился вдогонку. До сих пор не понимаю, почему я не сорвал тогда цветок? Ведь я уже держал стебелек пальцами...

Когда мне было шесть с половиной лет, мама прочла мне и сестре книги «Дети капитана Гранта» и «Маугли». У меня и до сих пор особая любовь к этим книгам. Затем я и сам стал читать. В восемь лет меня обследовала какая-то медицинская комиссия, нашли, что у меня умственное развитие, как у шестнадцатилетнего, и вообще задатки гениальности (увы, куда они делись?!). Я читал в то время не только Жюля Верна и Майн Рида, а и Вальтера Скотта, Диккенса, Шекспира, Дарвина («Путешествие на корабле «Бигль»). Мне запретили читать, чтобы не переутомлять головы, но ничто не могло уже меня разлучить с книгами: я глотал одну за другой — «Пищу богов» и «Войну в воздухе» Уэллса, «Черную Индию» Ж. Верна... Но больше всего пленял мое воображение «Капитан Сорви-голова» Буссенара, прочитанный в старом журнале. Эта книга будила фантастическую жажду подвигов, сражений за свободу. Не упрекайте меня в «кровожадности», все мальчишки играют в войну, нисколько не представляя себе в реальности, что такое смерть, убийство... А вообще у меня была колоссальная мечта: стать не более не менее, как... властелином мира! (Может, начитался Ж. Верна.) На моих кораблях будут установлены гигантские парабеллумы, я разгромлю флоты всех капиталистических держав, весь мир будет мой, везде будет порядок и справедливость, и людям будет жить хорошо.

Мне хотелось создать из какой-нибудь страны Землю в уменьшенном виде — все континенты, моря и острова. И чтобы там жили только дети и все делали бы сами, как на детской железной дороге. И до чего же они были бы счастливы! Самым восхитительным мне казалось пожить в таком счастливом детском мире, и не каким-нибудь там «властелином», а просто, как все. Ну, может быть, разве только подольше, чем другие. Жалел я лишь о том, что пока все это будет сделано, я уже вырасту, и мне не придется пожить в такой чудесной детской стране.

Тогда же, восьми-девяти лет, я и влюбился в первый раз. Она была на шесть лет старше и очаровательна, как героини всех книжек, вместе взятые. Странно, но между нами было какое-то подобие внутреннего контакта. Как-то я стал невольным свидетелем одной из ее «тайн», мы встретились взглядами и улыбнулись, она поняла, что мне абсолютно можно довериться. Меня не смущали ее бесчисленные поклонники, я знал, что, когда я вырасту, все они померкнут в ее глазах. Ведь я мысленно совершал столько подвигов в ее честь! Например, полчища врагов, похитивших ее, разгромлены мною в прах, я вхожу во вражеский лагерь, подхожу к стоящему в его центре шатру, откидываю полог и говорю ей: «Вы свободны». Тут же я падаю у ее ног, истекая кровью от бесчисленных ран, она склоняется ко мне, смотрит мне в глаза и понимает все... Она вышла замуж, когда мне было 16 лет, я очень горько пережил это. Потом вскоре она развелась, и мои надежды возродились. Семнадцать лет она царила в моей душе, я помнил каждый ее взгляд, жест, улыбку. Ну, а потом... горькая действительность вытеснила фантазии.

Из второго класса я перескочил сразу в четвертый — общее развитие позволило сделать это. Ребята все были примерно на год старше меня, и физически я котировался «ниже среднего». Зато летом в Анапе я был среди окрестных мальчишек бесспорным «чемпионом». Пишу об этом, так как для мальчика, для формирования его личности, психологии очень важно, в каком «физическом разряде» он состоит в той среде, в которой растет. Побывав в «слабых», я научился не обижать их, а побывав в «сильных», научился давать отпор любому детине. Я играл в нашей классной футбольной команде. Футбол я обожал, после уроков оставался в школе и играл. Бывало, что я возвращался домой часам к шести. Дома не мешали, так как хотели оторвать от книг.

Чем я интересовался в те годы? Как ни странно, я хотел стать космонавтом! Я собирал книжки Циолковского, Перельмана, рисовал на уроках ракеты. Длилось это лет до семнадцати, когда я уже ясно понял, что ничего не выйдет. Играл в шахматы. Если бы не болезнь, я бы почти наверняка стал чемпионом Тбилиси среди школьников, ибо все мои основные конкуренты были классом старше.

Мне мешали в детстве (да и потом) излишняя застенчивость, скромность. Так, например, когда я выигрывал в шахматном клубе, мне казалось, что это

случайно, а не по заслугам. Мое мнение передавалось, очевидно, и противникам, но... я снова выигрывал. Однако уверенности у меня все равно не появлялось. Так и мои сонеты — через много лет, когда их высоко оценивали столь разные люди, все, в общем, компетентные, в том числе С. Маршак, мне все казалось, что это по какому-то странному совпадению, а в сонетах-то, может быть, ничего и нет.

Лет двенадцати я неудачно нырнул в волну на пляже в Батуми. Волна была непомерно большая, и я какую-то долю секунды колебался: не ударить ли? Это опоздание стоило мне того, что волна меня закрутила, грохнула о камни и чуть не утащила вглубь. Я еле выбрался, прихрамывая. Сразу охи да ахи да по врачам, те выдумали воспаление некоей надкостницы от ушиба, послали в Анапу. Там я с утра принимал солнечные ванны, лежа как можно ближе к воде, на тонкой подстилке, на еще не прогретом солнцем песке. Тут-то сырость и прокралась в мои суставы. Они начали иногда побаливать, мне запретили играть в футбол (я, разумеется, играл), а потом я сильно расшибся в спортзале — прыгал с раскачивающихся колец вниз головой, делая сальто в воздухе. Размах был очень большой, страховавший товарищ отошел, я опять какую-то долю секунды колебался, и... нужный момент был упущен. Я упал на мат не ногами, а «сиденьем». Мне вышибло из легких весь воздух, позвоночник получил сильную травму. Но мне, увы, нипочем было и это. Через несколько месяцев, встречая на вокзале — шел страшный дождь — приехавших из Ленинграда сестру с мужем, я забрал у них два чемодана и, не пережидая дождя, бегом снес их домой, а там не переоделся в сухое. Вечером пошли на бульвар гулять, и встать со скамейки я не смог: распух и не давал наступить на ногу правый голеностопный сустав. Еле добрался до дому, на другой день распухли колени, температура 40. Чуть подлечившись, приехал в Тбилиси, собирался идти в школу (в 9-й класс), но тут обострение. Три месяца больницы и... Ну, одним словом, жизнь Эдуарда поломалась, начинался новый этап.

Экзамены за 9-й класс я по разрешению Наркомпроса сдал на дому (отлично). За 10-й класс было куда труднее. Болезнь прогрессировала. Болели плечи, глаза, я не мог писать.

Война очень усложняла жизнь.

Я совсем лишился возможности передвигаться. С утра меня устраивали — отец и мать — у стола, в шезлонге, ставили на стол графин с водой и керосиновую лампу и уходили на работу. Когда темнело, я зажигал лампу, но скоро приходилось ее тушить, так как в Тбилиси было затемнение. Никто меня не навещал, жизнь всех разметала.

На весь день я оставался один. С книгами и своими мыслями. Это были очень одинокие часы. Держался хорошо, не хныкал, но... положение говорит само за себя. Читал я много. И все время рядом со мной был Лермонтов.

У Лермонтова есть великолепное стихотворение «В чугун печальный сторож бьет». В его под конец внезапно — а на самом деле это так подготовлено контекстом! — врывается строка: «Как я забыт, как одинок». В первый раз я просто словно бы споткнулся об эту строку, она меня ошеломила, на глаза навернулись слезы — за Лермонтова, за себя, за всех...

Может быть, именно тогда во мне зародилась идея борьбы с одиночеством, с непробиваемой стеной, стоящей между двумя людьми. «Если двое говорят одно и то же, то это не одно и то же»,— говорили древние римляне. Да, это так, я собрал массу цитат на эту тему, они угнетали меня, но где-то подспудно я чувствовал, что можно, нужно бороться с этим, Лермонтов учит такой любви и страстности в борьбе за жизнь, за человеческое в ней.

Однако жизнь давила. Умерла сестра после ленинградской блокады. Убили на фронте зятя, чудесного человека, ленинградского физика.

Болезнь прогрессировала. Месяцами болели глаза, я не мог читать. Мама мне читала вслух, так она прочла мне «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Подростка», «Бесов», романы Бальзака — «Утраченные иллюзии», «Кузина Берта», «Кузен Понс», «Сельский врач»... Роллан пишет в «Жане-Кристофе» об Оливье, что исторические преступления и несправедливости заставляли его страдать так, словно он сам был их жертвой. Это словно бы про меня в те годы.

Пытаясь осмыслить все это хаотическое разнообразие жизни, определить место человека в ней, я пришел к выводу, что вроде бы самое правильное и высшее, что может сделать человек,— это пожертвовать собой ради других людей, ради человечества...

И тут мне попался в руки затрепанный последний том «Очарованной души» Р. Роллана (начиная с совместного житья Марка и Аси и до конца). Это было для меня каким-то неимоверным откровением. Я находил там тысячи своих мыслей, только высказанных более четко, уверенно, я находил там тысячи новых мыслей, которые немедленно становились моими. Едва кончив книгу, я начал читать ее заново,— невозможно было вместить все это в себя сразу.

Так, значит, я не один в мире?! Есть у меня и друзья, и соратники, и наставники, значит, я на правильной дороге, и иного пути просто быть не может! И сколько еще можно и нужно узнать о мире, о жизни, о людях!

Это было для меня словно бы второе рождение. Мне для таких перерождений нужен, очевидно, какой-то цикл — лет в десять: в следующий раз я ощутил подобное, когда к 1955 году почувствовал себя вполне сформировавшейся личностью и пришел к выводу, что человек «бессмертен», а еще через 10 лет я встретился с вами и... вступил насовсем, навсегда в новый мир; больше уже ничего не должно, не может быть.

Я стал собирать все книги Роллана, «Жана-Кристофа» я перечитывал чуть ли не каждый год, первые тома «Очарованной души» мне понравились меньше. Но чуть ли не самым лучшим у него я считал «Кола Брюньона». Впервые я прочел кое-что Роллана лет в 15—16, когда читал все подряд для эрудиции, но он показался мне непонятным, скучным, грубым. Всему свое время. Мне страшно подумать, что, если бы, например, я встретил вас лет десять тому назад, я мог бы не понять вас, не заметить.

В те же годы я понял Маяковского, прочел подряд всего Чехова и полюбил на всю жизнь.

Весной 1946 года я начал лечение массажем. Оно фактически и поставило меня на ноги, дало ту некоторую возможность передвижения, которой я и пользовался все шире до известной вам автомобильной катастрофы...

Массажист был просто великий мастер своего дела. Он меня очень полюбил и старался, как мог. Сеансы длились по два — два с половиной часа, и сравнить их можно только с гестаповскими допросами. После первого сеанса, когда у меня хрустнуло что-то в спине — я решил, что это разошлись позвонки в одном месте,— я подумал: у человека 32 позвонка, ну, отбросим семь, остается 25; если на освобождение каждого позвонка нужен один

сеанс, то никакого выздоровления не захочешь. Я перенес не 25, а 525 таких массажей, правда, потом они уже стали полегче. Сперва сеансы начинались в пять часов. С утра я уже не мог ни о чем ином думать. Только после сеанса я мог снова чувствовать себя человеком, говорить с людьми, читать, ну, словом, жить. Один раз я во время сеанса просто расплакался. В другой раз удержался, но массажист испугался, что у меня может быть нервный паралич. Вообще-то он считал, что у меня исключительное терпение, но... А раз он мне сломал костное сращение в левом колене. С тех пор я знаю, каково живому человеку, когда ему ломают кости. Он разогнул сустав — силы рук не хватило, и он, поставив ногу на кровать, положил мою ногу себе на колено — до предела и, когда уже невозможно было больше терпеть, слегка тронул колено пальцем. Это была «последняя капля», раздался сухой треск, и он поспешно опустил ногу на кровать. В тот день я не позволял никому проходить возле кровати, ибо даже сотрясение пола вызывало сильнейшую боль. А назавтра опять...

Потом он стал приходить по утрам, что было огромным облегчением, а то я просто жизни не видел.

Почему я пишу об этом? Да потому, что физическая боль может играть огромную роль в формировании характера, личности. Она придает не только закалку. Вырываясь из этого ада, научаешься по-новому ценить жизнь, дорожить ею, любить ее. Я не встречал человека, которому пришлось бы за свою жизнь перенести столько физической боли (о боли, так сказать, «душевной», тоже большом воспитательном факторе, я вообще говорить не собираюсь), сколько мне, это мог бы быть только кто-нибудь, побывавший в фашистских застенках.

В 47—50-х годах я ездил в Цхалтубо. Это было для меня каким-то «выходом в свет», я стал общаться с людьми (ведь за первые годы болезни я видел всего человек 20—25, включая почтальонов и инкассаторов).

В 1948 году я поступил в Московский заочный полиграфический институт на редакционно-издательский факультет.

Весной 1951 года я поехал с мамой в санаторий на курорт Менджи. Там я познакомился с очень дорогим человеком — студентом-архитектором из Ленинграда, бывшим фронтовиком. Это было какое-то сверхчудесное взаимопонимание. Я привез его на машине в Тбилиси, он погостил у нас. Два—два с половиной года это чувство доминировало в моей жизни. Когда я писал ему, я словно бы погружался в какое-то вдохновение.

Эти годы были для меня годами большого духовного роста, фактического становления личности. Да, мне хотелось от жизни чуда, поэзии, «невозможного, становящегося возможным». Я очень жадно поглощал все, что мог узнать о мире, делился этим с друзьями. Это самое приятное в жизни — открывать в ней что-то новое и делиться этим с другим, которому оно тоже нужно. В эти годы складывались у меня дружеские отношения, которые своей интенсивностью и плодотворностью заставляли меня считать проблему одиночества практически решимой. И в то же время я чувствовал себя каким-то «скульптором человеческих душ», я видел, как преображаются люди благодаря общению со мной.

Не нужно думать, что все шло так уж безоблачно, гладко. Были и трудности и периоды какого-то внутреннего срыва и отчаяния, о которых никто не знал. Но все это постепенно оставалось позади. К 1955 году, после окончания института и знакомства с Маршаком, я снова почувствовал себя каким-то новым человеком. Я уже твердо знал, чего хочу в жизни, мог отвечать за все свои поступки, вышел из-под власти эмоциональных срывов, стал хозяином жизни и даже смерти, потому что, если у человека есть что-то такое, что для него дороже жизни, за что он готов в любой миг отдать свою жизнь, значит, он фактически «бессмертен», смерть, как таковая, как фактор, определяющий поведение людей, для него уже не существует. Меня поразила одна запись Л. Толстого (я как-нибудь покажу ее вам). Буквально в том же возрасте, в очень похожих условиях он, «став думать, как человек только раз в жизни может думать», пришел чуть ли не к тем же выводам, что и я. В том числе о «бессмертии», хотя он, вероятно, вкладывал в это другой смысл.

...Самой большой отрадой моей жизни до встречи с вами был Маршак. Он считал, что мне надо жить в Москве. Так возникла у меня мысль о переезде, который так и не удалось осуществить, несмотря на все хлопоты. Новые люди, кипучая деятельность, перемена обстановки, полная самостоятельность — все это могло помочь поднять какие-то новые пласты жизни, подняться на какую-то более высокую ступеньку, продвинуться дальше к своей цели. А какова эта моя цель? Разве уже не ясно из контекста? Я пришел к выводу, что самое главное из того, что отравляет людям жизнь,— это неправильность, неустроенность их отношений между собой.

Нужно, конечно, бороться за социальную справедливость, лучшие люди минувших веков посвящали себя этому. Нужно, конечно, чтобы в мире не было голодных, рабов, несчастных, нужны и хлеб, и жилища, и розы.

Но... дальше возникают вопросы развития в человеке именно человеческого. Маяковский начал об этом поэму «Пятый интернационал», но тогда, во время разрухи, она была несвоевременной. Да, «всему свое время», и сейчас это время уже настает, надо бросить силы и на этот фронт (тем более, что на другие фронты пути мне были заказаны). Все, косвенно и прямо, в моей жизни было посвящено этому — борьбе за новые, более правильные человеческие отношения. Я говорил об этом с Маршаком. И он фактически благословил меня на это. Он мне как-то сказал: «Люди вдыхают кислород и выдыхают углекислоту, а вы всегда окружены хорошими людьми. Вы словно бы наоборот, выдыхаете кислород, и рядом с вами им легче дышится». В другой раз после какого-то большого разговора в компании о человеческих отношениях он сказал мне на прощание: «Сейчас особенно нужна душевная чистота...» Иногда мне кажется, что моя энергия — это результат того огромного потока жизни, который струится через меня — независимо от моей воли,— из прошлого в будущее.

Может, и в этом можно видеть какое-то решение вопроса о «бессмертии». Я встречался со многими людьми, на многих сильно влиял, иногда сам того не замечая; в них, в их общении с другими не пропадет то, что было получено от меня. Так мое «я» будет струиться по жизни различными путями, когда меня не станет. И мне не жаль будет уйти, когда я увижу, что только своей смертью смогу еще по-настоящему принести пользу. Но жить мне очень хочется, даже сейчас, когда мне так плохо, когда я вынужден словно бы весь уйти в раковину, чтобы там скрыть, сохранить хоть капельку этой любви, а то все, что оказывается снаружи, гибнет, уничтожается, все ниточки, связывающие меня с жизнью, безжалостно и бездушно обрываются.

Иногда мие бывает трудно браться за зтн записки, ибо нет уверенности, что онн хоть сколько-то нужны. Но всякое начатое дело надо доводить до коица. Это очень важное правило (жаль только, что сам я его поиял довольно поздио) для укреплеиия характера.

Работал я в зтн годы тоже немало: писал, переводил, редактировал, участвовал в создании балета «Данко».

Нет, верно, я чересчур миогого хочу от жизни, за зто судьба и бьет меня. Но ннчего оиа ие может со мной поделать. Не может, например, она заставить меня разлюбить вас. Дуреха она! Самое большее, что оиа может,— зто убить. Но если п в смертный миг я буду любить вас так же, как сейчас, разве зто значит, что и любовь умерла? Нет, моя любовь будет бессмертной, пока вы помните обо мне, а вы будете помиить, я ие верю, что может быть ииаче.

А меня тоже любили. За что? Одна женщина както сказала: «С Эдуардом никогда не приходит в голову, что он болен, зтого просто не замечаешь». А я и сам зтого, правда, ие замечал, до... до поры до времени. Да и как было замечать, когда жизнь была полиа и, в общем, шла гораздо интересиее и полноценнее, чем у миогнх небольных, хотя оии бегали по земле, а меня возилн в коляске.

Чего я ие мог? Играть в футбол, лазить по горам? Но в футбол друзья мон ие играли, а по горам лазили редко. В остальном же я видел больше их больше путешествовал — да, путешествовал! — больше встречался с интересиыми людьмн, больше читал, больше находил в жизни важных н интересных проблем, которыми делился с друзьями; и жеищнны, иаверное, именно поэтому меня любнли больше...

Ну вот, а потом, когда я уже начал ходить — гимиастика, усилия воли,— когда я начал ходить и думать, что все позади, я роковым образом попал в автомобнльную аварию...

Это было идиотически иелепо и довольно больно, особеиио когда меня вытаскивали из машииы, слишком поздно схватывая суть моих указаний. В первой больнице мне наложили легкую гипсовую повязку, под которой целую иеделю перелом расходился во все стороны, раздирая ткани и вызывая соответствующие ощущеиия. Потом меня всего по пояс заново заковали в гипс, что было абсолютно не нужно, и уложили иа щит, что было тоже медицински безграмотно и делало лежанне совсем невыносимым. Но я все зто терпел...

Пишу ли я вам об зтом из «хвастовства»? Вряд ли. Ведь вы же должны знать, что внешние боли для меня что-то второстепенное. Просто зто было для меня снова огромной школой, даже неоценнмой (жаль только, что затем зта «школа» слишком затяиулась).

Потом меня взяли домой, где обнаружилось, что все делали неправильно. Новая больница. Туда я ехал с караваном из трех машин, но все равно ехать было очень невесело... Там меня починили, хотя с кучей иенужных мучений. Чего только не было!.. Физически зто былн худшие пятиадцать часов в моей жизни.

Из второй больницы я отправился в гнпсе на долгое лежание домой. Конечио, перспективы на ближайшие несколько месяцев были гадкие, но я чувствовал, что стою в жизни увереннее и крепче, чем когда-либо. После всего перенесенного мне уж, правда, казалось, что пз меня можно просто «гвозди делать», а мне все будет нипочем. Кроме того, во мне сформнровался какой-то окоичательный, твердый взгляд на свой жизненный путь, и я чувствовал, что у меня хватит сил пройти его до конца, как иадо, что я действительно созрел для зтого.

Перед тем как об зтом писать, расскажу об одной странной фантазии, полубредовой затее, посетившей мой затуманенный тяжелой болью мозг. Я решил, что немедлеино после поправки перееду в Москву, устрою себе квартиру, добьюсь успеха литературного и материального, может, машину заведу, любовницу из Большого театра, чтобы люди удивлялись, завидовали и думали, что мие очень хорошо. А потом, когда все будет налажено, собрать друзей, постараться объяснить им, что все зто не жизнь, а «свинство», проститься с ними по-хорошему и... в качестве последиего доказательства покончить с собой.

Не торопитесь смеяться. В зтой странной фантазии была своеобразная логика. В ней не было пессимизма, нет, иаоборот, она была парадоксальным выражеиием наивысшей любвн к жизни, которая сама по себе так прекрасна, что любая замена ее, любая подделка под нее хуже, чем смерть. Как доказать людям, что настоящая жизнь неизмеримо прекраснее всех зтих жалких замен и подделок, которые они так ценят? Только полным отказом от иих. Добиться всего, что люди считают «счастьем», а потом отбросить зто все как нечто абсолютно ничтожное...

Разумеется, все хотят жить, но я действительно не знаю иикого, кто любил бы жизнь так, как я, всю, во всех ее проявлениях, от малейшей былинки до отвлеченнейшнх идей фнлософов.

Но если, если того требует высшая цель, человек должен быть готов расстаться с жизнью. Во имя высшей цели шли на казнь Александр Ульянов и Софья Перовская. Надеюсь, что в нх зпоху я был бы с нимн. Еслн бы я не заболел, то давно нашел бы себе коиец либо иа последних фронтах Отечественной войны, либо в Корее, либо в Алжире.

Ну, и раз зти возможности меня обошли, я нашел себе новый фронт, по-моему, самый важный сейчас. Ведь зто борьба за «единственную подлинную ценность жизни» — связь человека с человеком. Я иадеюсь, вы поняли, что сегодня — с ясной головой — я более чем иронически отношусь к посетившей меня во время болезии «идее» самоубийства во имя утверждения великих ценностей и развенчания низших, н, еслн упомяиул об зтой «идее», то лишь для того, чтобы, «танцуя» от парадокса, уяснить для вас иекоторые действительно важные, с моей точки зреиия, вещи. А вообще мальчишество свойственно мне было почти до седых волос.

...Должно быть, потому — из-за мальчишества — за два года до иашего знакомства я в порядке «самоиспытания» прибил себе руку гвоздями к доске.

А еще я как-то месяца четыре подряд мучил маму: раз в неделю полтора дня иичего не ел. Логика простая: ни один человек не имеет права объедаться, пока в мире ежегодно сотни тысяч людей гибнут от голода. Над зтим можно и посмеяться: чем поможет мой пост зтим людям? Но тут дело не в реальной помощи, а в чувстве личной ответственности, оно не должно умирать в человеке.

Хочу, кстати, сказать, что мне глубоко свойственно чувство иронии, что могло бы, пожалуй, сильно задевать окружающих — а иногда, вероятно, и задевает,— если бы я не относился с той же ироничной шутливостью и к себе, к своим успехам и провалам, разным затеям и испытаниям, радостям и горестям.

Ну, теперь осталось уже совсем немного до... до «преображения мира».

Я встал после гипса, но что-то не клеилось, начал выезжать, и снова стало плохо; тут меня уложили в третью больницу, где мне так навредили с почками, что последствия я чувствую и до сих пор. Еле вырвался от них, отравленный антибиотиками, с повышенным давлением, головными болями, затуманенными мозгами. Последнее хуже всего. Пока я могу мыслить, я живу, я не обездолен. И не одинок, потому что «не дальше мысли можешь ты уйти. Я неразлучен с ней, она со мною». А когда попытка мыслить вызывает лишь головную боль и хаос в мозгу, то это не жизнь. Так я валялся довольно долго, заходили ко мне в гости разные люди и... среди них вдруг явились вы. Тогда-то я и записал в дневнике: «Недели две назад (5.XI) я познакомился с изумительной девушкой. В ее лице отражаются одновременно весь трагизм XX века и вся его устремленность в будущее. А в душе — смятение, неверие в свои силы, в порядочность человечества и... некоторый недостаток знаний.

Я пока не знаю, не понимаю, на что я имею право рассчитывать с ее стороны, думаю, что не на все — она достойна лучшего (хотя я, конечно, хорошо понимаю, что лучше меня на свете никого нет!). Но все равно видеть ее, слышать, дышать одним воздухом с ней — это уже само по себе дар бесценный, хотя и жестокий по временам...»

Дальше вы все знаете, хотя и не представляете характера и масштаба того переворота, который произошел во мне.

У меня такое ощущение, что это любит через меня все истосковавшееся по правде и чистоте подлинно людских отношений человечество, что это все миллиарды разбитых и неосуществившихся человеческих надежд жаждут во мне быть воскрешенными одним вашим словом.

Должно быть, я слишком много беру на себя. Но меньше не могу. Да и не хочу. Я считаю для себя великим благом встречу с вами.

Пока я люблю вас, я буду жить. Ведь любовь и жизнь — это одно, и разве я смогу когда-либо забыть, что услышал об этом именно от вас?..

На этом, наверное, следовало бы кончить, но мне всегда так трудно расставаться с вами. Заметили ли вы это? Вы почти всегда уходите так неприветливо, так странно...

Ну, напоследок выдам еще один свой секрет: когда мне в больнице, в Москве, после той урологической операции было хуже всего и я думал, вернее, не думал, а ощущал, что все может скоро кончиться, я мысленно простился с вами, позволил себе мысленно обнять вас... это в первый раз...

(Она ушла. Ушла и не вернется. Замолкнул в отдаленье звук шагов... Все тише, все больнее сердце бьется — она ушла, ушла и не вернется! Ни мыслей нет других, ни чувств, ни слов: она ушла. Ушла и не вернется...)

31.XII. 66 г. — 7.I.67 г.

И вот опять раскрываю «Тетрадь для вас»: еще одна попытка рассказать — объяснить что-то...

Может ли быть у меня надежда этими несколькими страницами изменить положение? Нет, конечно, но во мне есть неистребимая потребность стремиться к тому, чтобы вы понимали меня глубоко.

Если же говорить о надежде, то она живет во мне, но надежда совершенно особая: надежда-боль. Во время вашего последнего визита у меня внезапно очень сильно заболело сердце. Но какой-то н о в о й болью. Болью только за вас...

Только новая боль и может научить человека чему-то. Может быть, во мне есть что-то, чего я и сам не знаю?

Я не могу жить без того, чтобы мое чувство к вам не углублялось, не совершенствовалось бы. И может быть, это возможно еще?

Почему у меня появилась вдруг такая надежда? Может быть, потому, что мне не понравились мои последние записи? Может быть, потому, что вам «не понравился Жан-Кристоф»? Не смейтесь, это очень важно. Я вовсе не хочу сказать, что вы «не поняли». Просто, очевидно, различны пути духовного становления мужской и женской личности. Роллану принадлежит фраза: до чего одинока женщина. Но, очевидно, не тем одиночеством, как мужчина. Очень важно постараться и бережно уловить эту разницу, найти какие-то пути взаимопонимания людей. Думать о б э т о м, думать о д р у г о м ч е л о в е к е, а н е о с е б е, но так, чтобы и свою личность не утратить, потому что этим и другого обидишь,— вот что нужно.

Часто мне казалось, что моя любовь к вам уже достигла вершины. Но нет! До последней вершины еще далеко... Путь к ней — в более тонком и бережном отношении к вашей душе, к особенностям вашей личности, к вашему духовному росту.

...Я не боюсь жизни, я люблю ее, но только настоящую. Пусть трудную, но настоящую. И дело вовсе не в личных бедах, потому что они случайность. А человек не должен покоряться случайностям, как бы они ни были тяжелы.

И потом, я не ограничиваю жизнь только личным, есть еще борьба общечеловеческая.

Я пытался рассказать вам, что я поставил целью жизни поиски и внедрение новых, более возвышенных и чистых человеческих отношений. Зная, что есть высшие формы человеческого общения, я не могу вернуться к низшим.

...Теперь я конкретно знаю — благодаря вам! — что может быть женщина — настоящий человек, друг, возлюбленная, с которой можно преобразовать мир (я имею в виду, разумеется, не земной шар, а мир в более скромном смысле), поставить все в нем на свое место так, как надо. Женщина, с которой можно жить только для подлинно человеческого и в ней и в себе. Ну, а то, что наша с вами встреча не повела к этому,— это просто случайность, тут нет ни вашей, ни моей вины, может быть, только моя беда.

Вы как-то сказали мне, что мое чувство к вам уменьшилось. Нет, просто из него как-то ушло будущее. Это просто сказать, но на деле это совсем не просто. Я почувствовал, что не могу радовать вас так, как хотел. Нет у меня того, что вам надо. Может быть, вы скажете, что это надо было понять раньше... Нет, надо было бороться до конца (который еще и не наступил).

И вовсе я не стал любить вас меньше. Я люблю вас, может быть, даже больше, чем раньше. Я уверен, что моя любовь всегда будет с вами: если вы перестанете это ощущать, то, значит, грош ей (и мне) цена.

Я хочу, чтобы у вас были дети... Мне важно сознавать в последний миг, что я совершил все, что мог, чтобы укрепить в вас веру в жизнь, в людей, в настоящие, незапятнанные чувства.

Ведь моя цель была не «уложить вас к себе в постель» (попробуй докажи это обывателю), а добиться максимально возможных между нами человеческих отношений. И я уверен, что оказал на вас огромное влияние. Вы сами об этом говорили.

Эдуард.

Последние письма к ней

11.II.67 г. Санаторий под Тбилиси.

Все время у меня в голове вертятся разные мысли. Что с ними делать? Им нет числа. Иногда между ними попадаются и «хорошие», то есть такие, которые хотелось бы запомнить. Но одна сменяет другую, поток идет все дальше и дальше и наконец теряется, как река в песках пустыни. Неужели же так должна затеряться и человеческая жизнь? Ведь мысль — ее наивысшее выражение. Потому-то людям и надо делиться друг с другом. Только друг в друге они могут сохранить себя. (И найти, добавил бы я.) Поэтому мне и хочется сделать какие-то записи. Плохой или хороший — я не хочу уйти бесследно. Мне хочется поделиться с кем-то. Да и не с кем-то, а с вами. Потому что вы самый нужный и близкий мне человек на земле. Опять «почему»? Ну, тут, если начать объяснять снова, пожалуй, всей жизни не хватит — это одна из необъяснимых чудесных и роковых загадок жизни.

Нужно ли вам это? Думаю, что да. Может быть, не все. Но ведь лишнее легко отбросить. А не может быть лишним все, в чем нашла свое наивысшее выражение целая человеческая жизнь, прожитая нелегко, вся целиком и искренне посвященная тому, чтобы найти нечто подлинно человеческое, то, для чего действительно стоит жить.

Человеческое тепло, бережная забота о другом, бескорыстное желание ему блага больше, чем себе самому. В чем еще может полнее и лучше выразиться именно человеческая сущность?

Вы можете посмеяться над «бескорыстием», назвать это сентиментальностью, фантазиями и т. д. Но не можете же вы не чувствовать, что я все же пытаюсь выразить в этом какую-то большую, может быть, даже единственную правду жизни, хотя и не нахожу для этого нужных слов.

Может быть, я в чем-то ошибаюсь, может быть, надо любить как-то сильнее, чище, самоотрешеннее. Я не знаю. Не умею. Я стараюсь делать все, что могу. Я всю жизнь старался, чтобы она вела меня к этому.

Мне неимоверно, просто безумно хочется обнять вас тихо, бережно, словно бы укрыть вас этим от всего дурного на земле; сохранить на миг, равный вечности, состояние чистого, прекрасного покоя и полной гармонии, потому что любовь — это музыка души, слушать которую радостно до слез, и нельзя пошевельнуться, чтобы не спугнуть ее, вечно гонимую нашей жизнью, изгоняемую из нее «житейской мудростью» в «мир фантазий», который эфемерен с обыденной точки зрения, а на самом деле он единственная реальность жизни. Потому что любовь — это чудо. Чуда не достигнешь трезвым и планомерным стремлением к нему. Этого для чуда мало, нужны порыв за грани возможного, бесстрашное самоотречение, самопожертвование, которого не замечаешь.

Да, мне хотелось бы обнять вас так. И после этого мне было бы все равно — жить еще минуту или сто лет.

Чувство мое можно назвать только одним словом, которое мы очень редко употребляем, ибо к чему его ни примени, оно звучит какой-то насмешкой и профанацией. Слово это: б л а г о г о в е н и е... Я ненавижу все, что отдает религиозностью, но тут если что и вспомнить, то только строки Пушкина: «...Благоговея богомольно перед святыней красоты».

Да, в этом была и осталась именно какая-то святая тайна. И не об общепринятой красоте здесь речь. Над бездной небытия, над вселенским ничто, над мировым хаосом неживой материи возник какой-то маленький огонек, что-то такое хрупкое и беспомощное, такое беззащитное, но в то же время неуничтожимое и неугасимое, мерцающий огонек живого чуда, живой жизни.

В каждом человеке есть это хрупкое торжество над мраком небытия, только это и роднит людей друг с другом, дает им забыть об ужасе неизбежного ухода.

Да, это есть во всех людях, но они стремятся жить чем-то другим. Я хотел всю жизнь уйти от этого «другого», и вы насовсем увели меня от него. Поэтому для меня свято все, что связано с вами. Вот, а вы говорите, что я вас «выдумал». Чепуха! Такого не выдумаешь.

На выдумки я горазд, мог бы выдумать и раньше, да вот не получалось, потому что надо было не выдумать, а найти, открыть. Если вам захочется назвать все это сентиментальностью, а меня — экзальтированным идиотом, то это грубая ошибка. Просто я не умею выразить лучше, понятнее. Не такой уж я идеалист и фантазер, я принимаю жизнь целиком, а как же иначе? Потому мне и в чисто практической, низшей, но все равно необходимой области жизни тоже хочется сделать для вас все, что можно, «от задвижки до пылесоса». Но это, разумеется, не может дать выхода той безграничной потребности в общении с другим человеком, всемерном и беспредельном единении с единственно близким тебе существом во Вселенной.

12.II.67 г.

Все время мысли сбиваются на темы, которых хотелось бы избежать.

А хотелось бы мне с вами говорить о чем-то легком и простом. Например, рассказать, что я сегодня съел один гранат, и он был чудесен! И я никому не дал ни зернышка. А еще мне из Америки послали две книги об экзистенциализме (это тот профессор меня уведомил). Вечером у меня поднялась температура, но думаю, что это просто из-за «нервности» нынешнего дня.

Мне хотелось бы видеть в вас больше покоя, самоуглубленного раздумья, независимости от бед внешних, трезвого подхода к бедам внутренним.

14.II.67 г.

Мне хочется сегодня поговорить о разных человеческих болях, бедах и неприятностях в о о б щ е.

Я поделил бы их все на две группы: «нормальные» и «ненормальные». Первые — это те, к перене-

сению которых человек приспособлен как биологически, так и своим социальным развитием. Как бы они ни были индивидуально тяжелы, в целом они переносимы и преодолимы. Они общеизвестны, достаточно широко распространены (в разных вариациях и масштабах), имеют свою закономерность.

Все «нормальные» беды человек может перенести, должен перенести. Надо только постараться.

К «ненормальным» бедам можно отнести все из ряда вон выходящее. Конечно, точной границы между нормальным и ненормальным нет.

Что касается меня, то я назвал бы своей «нормальной» бедой автомобильную аварию, но то, что мне накладывали гипс три раза, да еще так глупо — это, конечно, «ненормальная» беда, хотя, в общем, пустяковая.

То, что вы не можете меня полюбить,— это «нормальная» беда, хотя и очень большая, может быть, даже чрезмерно большая для меня, но я все же вынужден назвать ее «нормальной».

А вот то, что вы не обращаетесь со мной «по-человечески»,— это беда явно «ненормальная», и я не знаю, что с ней делать!

Есть у меня, разумеется, и еще «ненормальные» беды, какие-то чересчур «ненормальные», мне не то что писать, а даже и думать о них не хочется, так как справиться с ними я пока не могу, а капитулировать на более или менее «почетных условиях» — это слишком, слишком противно! Эдуард и капитуляция — неужели вам, если вы мне хоть чуточку друг, не кажется это чем-то слишком гадким и несопоставимым?..

15.II.67 г.

Справедлива ли ваша фраза: «Вы ревнуете меня даже к воздуху, которым я дышу»? И да и нет. То, что я чувствую, не ревность, а нечто иное.

Представьте себе, что неизданные рукописи Лермонтова тратятся как техническая бумага, на разные нужды, а к вам в руки попадают лишь отдельные, разрозненные листки. Представьте себе, что вы получили два-три отрывка из «Демона», а про остальные листки знаете, что они пошли на цигарки, на бумажных голубей, на оберточную бумагу.

Так я воспринимаю свое общение с вами. Конечно, я получаю от общения с вами в тысячу раз больше, чем другие, потому что только я могу прочитать волшебные строки. Но мысль «об утраченных листках», обо всех ваших словах, взглядах, жестах, улыбках, ушедших на сторону, достающихся кретинам, которые видят вас каждый день, обо всем этом, составляющем для меня единую чудесную поэму, а тут тратящимся попусту, гибнущим безвозвратно,— мысль эта мучит меня невыносимо.

Вы «моя частица солнца на земле». Вы именно мой человек на земле. Я вас узнал, не ошибся, и как же мне назвать вас иначе, как не «моей частицей солнца на земле». Есть вы — и прекрасен рассвет, чарует музыка Баха, сладок сок граната, жизнь — радость. Нет вас — и рассвет хуже мглистых сумерек, музыка — нудный шум, гранат — кислятина... И меня с самого начала нашего общения поразила какая-то таинственная чудесная общность наших оценок большинства явлений. Музыки, книг, людей... Вспомните, сколько раз вы меня спрашивали о чем-то, чему вы вынесли свою оценку, и я отвечал вам, словно бы прочитав ваши мысли. Для меня это всегда было залогом и свидетельством какой-то огромной, уникальной душевной близости.

А вообще поймите же, что нет для меня ничего дороже вашего внутреннего мира, дарившего меня такими прозрениями, что я немедленно же тонул в его глубине и гениальности. Чем же еще вы меня сразу покорили, как не этой душевной магией!

«Мой юный Моцарт». В глубине вашей души именно моцартовская чистота и гармония, только там таится ответ на все тайны и загадки жизни.

Помните, у Блока, что «только влюбленный имеет право на звание человека». Я воспринимаю это с тех пор, как узнал вас не как слова, а как непреложный органический закон жизни.

Любовь — дочь познания,— говорит да Винчи. Чем больше я о вас узнаю, тем больше люблю.

Эти записи — всего лишь два-три процента моих «бесед» с вами. Стали бы они толковее, если бы увеличились на бумаге в сорок—пятьдесят раз? Ну, для кого толковее? Вы, я надеюсь, и так увидите в них только разум и любовь. Посылаю вам две выписки Ромена Роллана, о которых вы меня просили.

7.VII.67 г. Джава.

...Я вас ни в чем не виню, я не умею винить. Должно быть, нужна какая-то определенная душевная зрелость, чтобы испытывать необъятную, необъяснимую потребность в другом человеке. И вы достигнете когда-нибудь этой зрелости. Верю... Я, несмотря ни на что, чувствую в вас какую-то огромную близость к себе. Это, как два дерева, которые стоят вроде бы далеко друг от друга, но корни их глубоко под землей переплелись и переплетаются все больше и больше. Другое дерево, стоящее гораздо ближе, можно отсадить куда угодно, а эти деревья рассадить нельзя. Погибнут. Боль — самый лучший, может быть, единственный воспитатель. Я не желаю вам боли! Я надеюсь, вас воспитает моя боль.

Самая главная человеческая потребность: отдать себя целиком другому человеку, раствориться, исчезнуть в нем, но тем самым вновь найти себя в новой, высшей жизни, в единении и с любимым человеком и со всем человечеством прошлого и будущего. Слова, быть может, и пустые и громкие, но чувство это огромное, нежное и беспощадное. Вне этого чувства нет человеческого существования, есть только более или менее благообразный, полуживотный быт.

Это не укладывается в общежитейские представления о любви. Но поэт и не может быть счастлив в общежитейском смысле. Конечно, с вами жизнь открыла бы совсем новые и огромные трудности, но с вашей любовью и доверием среди них не нашлось бы ни единой непреодолимой.

Вы можете любить только по-настоящему сильного, смелого, деятельного, доброго человека. Видимо, я не стал им, если вы не полюбили меня...

Да, надо быть совсем другим, чтобы любить вас и быть любимым вами. Нужна какая-то особая доброта, нужно уметь быть добрым к вам даже там, где вы сами обязаны быть злой к себе.

Как первый прорыв за круг общежитейских представлений о любви, Уайльд определил: все убивают то, что любят. Но это справедливо для первой, низшей фазы любви, любви искренней, но потребительской. А надо бы сказать: «Всех убивает то, что они любят». Это любовь-созидание, любовь-самоотдача. Может быть, есть и третья фаза, когда слова философа «Кто хочет любви, хочет гибели» звучали бы уже не мрачным гордым трагизмом, а чистой радостью — совместным бесстрашным принятием бытия. Этого я не знаю. Знаю только, что без вас я мог бы не достичь даже и первой фазы. Короче



Эдуард Гольдернесс был дружески связан не только с Маршаком, но и с писателями младшего поколения; в своих письмах и дневниках он часто вспоминал о встречах с Беллой Ахмадулиной, чей духовный мир и стихи были ему особенно близки.
На снимке: Белла Ахмадулина и Эдуард Гольдернесс (фотография середины 60-х годов).

говоря, не был бы человеком, несмотря на все уважение окружающих.

Все люди умирают. Но только избранные умирают на костре. Вы возвели меня на мой, вы одарили меня этим. Может быть, и без вас я в конце концов заслужил бы его, но без вас никогда его пламя не было бы таким чистым.

Вот что такое вы в моей судьбе, вот за что я должен быть вам благодарен, вот почему я имею право назвать свою любовь настоящей. Сумейте хоть немного погреться у этого костра, воспользоваться его светом. Тогда все будет правильно и хорошо.

Самое большое чудо в любви — рождение надежды, когда, казалось бы, надежда ушла навсегда. Откуда рождается она, новая, невозможная, безрассудная и бессмысленная надежда? Из редких мгновений счастья, для которых нужно так мало...

14.VII.67 г.

Маяковский (которого вы, по сути, еще не читали) пишет в конце поэмы «Человек»:

Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

Меня все занимает мысль, которую я не могу осилить,— о «третьей фазе». Если сам попал в огонь, то хочется оградить от этого, кого любишь.

Но почему же отказывать другому в том, от чего ни за что не отказался бы сам? Что за эгоистическая гордость и самомнение? Где же тут доброта? Оградить другого от мучений, от которых сам ни за что не откажешься? Почему считать другого ниже себя?

А все же не могу...

Опять собираюсь в Москву — к поэтам, редакторам, врачам.

26.VII.67 г. Москва.

Меня тянет в гущу деятельной, действенной жизни, в сутолоку дел, событий, встреч и расхождений...

А еще тяготит меня какое-то чувство вины перед вами... Словно наобещал чего-то и не выполнил, не сумел.

Вчера Белла читала новые стихи. Некоторые строчки захватывают, в тот миг веришь, что есть на свете и нежность и боль, которые сильнее жизни и смерти. Но, однако, мне хочется сейчас не слов, а действий.

Будьте веселой и не думайте о нехороших вещах.

11.VIII. 67 г. Москва.

...Да, мне было плохо ночью. И больше того — страшно. Вспомните ужас, охвативший вас во сне, и ваш вывод, ощущение, что жизнь все-таки прекрасна! Перед лицом непосредственной угрозы небытия малодушно хватаешься хоть за какие-то самые простейшие ощущения жизни: пусть что-то, пусть хоть капелька чего-то останется, лишь бы не уйти совсем. В такой миг биологического страха забываешь, что страшно не умереть, а н е ж и т ь, страшно, что не сделал, не сделаешь того, что мог бы, что хотел, что можешь еще и хочешь сделать, уйдешь так, словно бы тебя и не было, уйдешь, не

оставив людям себя, тепла своей души, своей любви. Кому нужна была в мире моя любовь, которую я пытался найти в себе, выразить? Целиком никому она не понадобилась. Словно сожгли попусту целый нефтяной пласт, вместо того, чтобы превратить его в горючее для машин и самолетов, в синтетику, в электроэнергию. Горит попусту нефтяной факел, и даже вы отворачиваетесь от этого бесполезного зрелища...

И все же, все же мне кажется, что совсем не страшно умирать (относительно, конечно) тому, кто в жизни любил по-настоящему, но, увы, этот уровень нельзя считать достигнутым, если нет взаимности. Самолет с одним крылом не взлетит, а если и взлетит, то сразу разобьется. И еще: арба плетется себе и по ухабам и по булыжникам, а синяя птица разбилась от легкой ряби на глади озера. Так и жизни человеческие... Надо соизмерять свои силы. В этом, очевидно, мудрость. Но я не мудрый. Я любящий. Таким меня и запомните.

Эпилог

Он умер и похоронен в Москве, куда переехали потом его мать и сестра.

Последний сонет его даже не переписан набело: ряд строк перечеркнут, и те, что набросаны наверху, видимо, тоже его не удовлетворяли, но новых, более совершенных он найти уже не успел. И тем не менее сонет этот отмечен высшим совершенством — совершенством самоотдачи в любви.

Прости, я слишком много пожелал —
В любви к тебе всегда быть человеком.
В наш дерзкий век я дерзко возмечтал
Быть впереди, а не плестись за веком.

Готовя для тебя столь редкий дар,
Ни в чем любви не ставил я границы.
Но кто стремится к солнцу, как Икар,
Тот должен быть готовым и разбиться.

И вот лежу, изломан, меж камней.
Оборваны мои пути-дороги.
Целую тихо землю... Ведь по ней
Идут твои стремительные ноги.

Но что ж... Одна своим путем.
...Еще не раз мы встретимся на нем.

Любовь или умирает, или она восходит. Но если восходит, то ко все большей человечности. Она или умирает, или одухотворяется. Но если она не умирает, то умираем мы. Сердце разрывается от боли. От совершенно новой человеческой боли. Вершинной боли человечности...

Мне осталось написать несколько строк о той, кого любил Эдуард Гольдернесс. Она вышла замуж, у нее родилась и растет дочь. Что касается жизни ее души, то это тайна, в которую я не рискну углубляться.

Отмечу лишь самое очевидное: она увлеченно работает, исследуя художественную культуру Востока, открывая новое в ней. В одном из последних писем ко мне она сообщила: «Из Армении вернулась взволнованная и удивленная (и на этот раз!). И среди множества открытий — имя Нарекаци. Это армянский поэт X века, написавший «Книгу скорбных песнопений». В 1963 году С. Я. Маршак хотел перевести ее, но не успел. В песнопениях — что-то напоминающее хорал Баха...»

В этих строках я услышал голос Эдуарда Гольдернесса.

А в Тбилиси я был у нее поздней осенью. Мы купили на рынке охапку роз и поехали вверх, в гору, к пантеону. Мы возложили розы на могилу Нины Чавчавадзе, потом стояли у парапета, над Тбилиси, и я думал о том, что в этом мире, где, казалось бы, все умирают, нет ничего реальнее бессмертия.

...В одну из последних ночей он увидел сон: небольшой, на берегу моря, наподобие Батуми, город: день меркнет, вечером должны казнить Бернса, и сердце разрывается от сострадания и чувства беспомощности. Думая о Бернсе, он заходит в какой-то старый дом, замечает у окна рыдающую женщину; она поднимает лицо, и он узнает ее — ту, которую любит. И опускается перед ней на колени, говорит: «Хочешь, я устрою, что казнят не Бернса, а меня?» «Да»,— отвечает она. «И тогда ты меня полюбишь?» «Да». И он уходит, и на этом кончается сон...

...Он ни разу не поцеловал ее наяву, лишь однажды — во сне: в левую щеку, тихо-тихо, чтобы не разбудить, потому что видел ее больною и уснувшей. Он рассказал ей в письме об этом сне... А закончил письмо стихами Эмиля Верхарна, назвав их лучшим, что написано о любви. «Отдание тела, когда отдана душа,— не более, как созревание двух нежностей, устремленных страстно одна к другой. Любовь, о, она — ясновидение, единственное, единственный разум сердца, и наше самое безумное счастье — обезуметь от нежности и доверчивости».

Стихи эти Верхарн написал, выйдя из больницы, где нестерпимо страдал.

...А если бы это было нужно и возможно, Эдуард Гольдернесс действительно поднялся бы на эшафот, чтобы казнили не Бернса, а его, и он пошел бы к барьеру, чтобы убили не Лермонтова, а его, и лег бы в больницу, чтобы страдал он, а не Верхарн.

И поэтому поместим его в сердце рядом с ними.

●



**Евгений
ФЕДОРОВ**

КАК МЫ ЖИЛИ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ



Сорок лет назад, в мае 1937 года, четверо советских полярников — Иван Папанин, Эрнст Кренкель, Евгений Федоров и Петр Ширшов — высадились на Северном полюсе. В истории нашей страны, отмечающей ныне свое 60-летие, экспедиция папанинцев — яркая, незабываемая страница. Академик Е. К. Федоров, выступая в «Юности», приводит неопубликованные страницы своего дневника, который он вел в 1937 году на Северном полюсе.

Сейчас, когда географическое описание нашей планеты, по существу, завершено и исследования оставшихся кое-где на континентах «белых пятен» вряд ли внесут что-либо принципиально новое в науки о Земле, трудно представить, что в тридцатые годы мы не располагали достоверными данными о природе Арктической и Антарктической областей Земли.

Знаменитые полярные путешественники начала нашего века — Пири, Скотт, Амундсен — уже побывали к тому времени и на Северном и на Южном полюсах. Бэрд, а затем Амундсен, Нобиле и Элсворт пролетели над Северным полюсом, позднее Бэрд пролетел и над Южным полюсом.

Однако это были скорее спортивные, чем научные предприятия.

Природа же Центральной Арктики оставалась объектом многочисленных, нередко противоречащих друг другу гипотез, основанных большей частью на косвенных данных. Надо было найти новый метод работы, обеспечивающий длительное планомерное и комплексное изучение Центральной части Ледовитого океана.

Предложения о такой экспедиции — о высадке на дрейфующий лед группы ученых, имеющей разнооб-

разную научную аппаратуру и располагающей достаточным временем,— выдвигались не раз. Фритьоф Нансен посвятил последние годы своей жизни деятельности международного научного общества «Аэроарктика», в программе которого предполагалась высадка научной станции на два-три месяца на дрейфующий лед с помощью крупного дирижабля. Дирижабль — «Граф Цеппелин» — обещало предоставить правительство Германии. Уже был совершен первый пробный полет «Цеппелина» в Арктику с участием советских ученых и радиста Эрнста Кренкеля. Летом 1931 года во время посадки дирижабля на поверхность моря в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа впервые встретились Э. Т. Кренкель и уполномоченный Народного Комиссариата связи И. Д. Папанин, прибывший на борту ледокольного парохода «Малыгин» на Землю Франца-Иосифа для обмена почтой с дирижаблем. (Продажа специальных марок и конвертов для писем этой почты покрывала значительную долю расходов по рейсу дирижабля.) После фашистского переворота в Германии деятельность «Аэроарктики» прекратилась, но идеи остались.

Они разрабатывались, в частности, профессором В. Ю. Визе в Арктическом институте. Участники Челюскинской экспедиции — и среди них П. П. Ширшов и Э. Т. Кренкель — не раз, основываясь на собственном опыте, обсуждали с О. Ю. Шмидтом не только идею, но и практические возможности организации научной дрейфующей станции в Ледовитом океане.

Как раз тогда же советские авиаторы ставили один за другим мировые рекорды. А. Н. Туполевым был создан самолет АНТ-25, способный пролететь дальше всех. И был на примете хороший маршрут — из Москвы в Америку кратчайшим путем через Северный полюс. Выдающиеся советские летчики В. П. Чкалов, М. М. Громов и другие мечтали его проложить. Но для этого нужно было знать погоду где-то в середине пути через безлюдное пустое пространство — в районе Северного полюса. В то время самолеты не могли подниматься выше любых облаков, в холодных облаках — покрывались льдом, теряли скорость при встречном ветре. Летать было трудно.

Конструкторское бюро Туполева создало и тяжелый самолет АНТ-3, поднимающий несколько тонн полезного груза, имеющий небольшую посадочную скорость — пригодный для доставки оборудования станции в центр Арктики и посадки на лед. Во время спасения экипажа дирижабля «Италия», потерпевшего катастрофу в Арктике в 1928 году, М. С. Бабушкин и Б. Г. Чухновский благополучно садились на ледяные поля, выбирая подходящие места с воздуха, и затем взлетали. По мнению этих и других полярных летчиков, в любом районе океана можно было разыскать подходящие для посадки тяжелых машин ледяные поля. Это и было принято в расчет при планировании экспедиции.

Так сложились условия, при которых правительство приняло предложение полярников, ученых и летчиков об организации научной станции на полюсе. Обязанности начальника дрейфующей станции были возложены на И. Д. Папанина.

Всей своей жизнью он заслужил эту честь. Родившись в 1894 году в семье матроса в Севастополе, на Корабельной стороне, он начал свою трудовую жизнь 14-ти лет учеником токаря в мастерских Севастопольского военного порта. В 1915 году он был призван на военную службу в Черноморский флот.

После Октябрьской революции матрос Иван Папанин сражается в первых отрядах Красной гвардии. Преданный революции, находчивый и изобретательный, он стал талантливым командиром Красной Армии, принимал участие в многочисленных боевых операциях на Украине и в Крыму. По окончании гражданской войны, демобилизовавшись, Папанин работает в Наркомате связи. Он берется за строительство крупной радиостанции в одном из самых глухих мест страны — на реке Алдан в Якутии, где еще бродили остатки белогвардейских банд,— и с честью выполняет эту задачу.

В 1930 году он впервые попадает в Арктику — как я уже говорил, для обмена почтой между кораблем и дирижаблем,— и, представив масштабы государственных задач, которые надо было решать советским полярникам, Папанин решительно становится в их ряды. Первая задача, которую ему поручает Арктический институт,— организация на месте небольшой недавно построенной полярной станции на Земле Франца-Иосифа крупной по тому времени и самой северной в мире геофизической обсерватории.

В 1932—1933 годах проводился так называемый «Международный Полярный год», в течение которого разные страны по совместно разработанной программе должны были организовать дополнительные полярные станции и обсерватории, провести экспедиции и собрать как можно больше новой информации о природе Арктических районов. Советские ученые принимали активное участие в планировании и осуществлении этой программы. На обсерваторию Земли Франца-Иосифа возлагалась значительная ее часть.

Заканчивая в 1932 году Ленинградский университет, я мечтал о работе в Арктике и был очень рад — видимо, не меньше, чем сегодняшний молодой человек, принимаемый в отряд космонавтов,— когда узнал, что Арктический институт и начальник будущей обсерватории И. Д. Папанин удовлетворили мою просьбу о работе именно на Земле Франца-Иосифа.

Это был первый опыт работы в арктических условиях как для начальника, так и для всего подобранного им коллектива, состоящего в основном из молодых специалистов. Мы с удовольствием приняли предложение Ивана Дмитриевича — не ограничиваться предусмотренными программой стационарными наблюдениями, но провести ряд походов для изучения Земли Франца-Иосифа, тогда еще во многом таинственного архипелага.

Еще осенью мы с Папаниным предприняли пробные выходы.

Помню, например, как в конце ноября, в темноте полярной ночи, вместе с промышленником Кунашевым мы пересекли пролив, отделявший обсерваторию от соседнего острова. За двое суток мы прошли тридцать километров, волоча на себе тяжелые нарты со снаряжением, палаткой, аппаратурой через нагромождения торосов. Две собаки крутились, тявкая, около нас. Пять дней этого тяжелого похода научили нас многому. Мы убедились, что имеющееся на станции снаряжение не годится для полевой работы, а собаки, набранные в Архангельске, не умеют ходить в упряжке.

Зимой, в полярную ночь, под руководством двух опытных в полярных делах товарищей, биолога Л. И. Леонова и промышленника В. М. Кунашева, все мы шили заново одежду, спальные мешки, делали нарты, приспосабливали научную аппаратуру, учили собак — готовились к походам.

Вскоре вместе с Кунашевым я прошел около трехсот километров: от острова Гукера, на котором находилась наша обсерватория, до самой северной точки Земли Франца-Иосифа — острова Рудольфа. Там, под угрюмыми, черными скалами мыса Аук, весной 1914 года на пути к полюсу скончался и был похоронен Георгий Седов. Этот отважный русский путешественник, не получивший никакой поддержки от царско-

го правительства, был последним из смельчаков, отправлявшихся на полюс пешком.

Я проводил магнитные измерения, определял астрономические пункты и исправлял многочисленные ошибки старых карт островов архипелага. Читатели могут представить себе радость, которую испытали мы, совсем еще молодые парни, открыв — да, действительно, открыв! — и впервые нанеся на карту группу небольших островков.

Пусть эти неведомые ранее земли, названные нами «Октябрята», занимали, все вместе, не более десяти — пятнадцати квадратных километров, но это было настоящее «географическое открытие» — первое в моей жизни.

Стоит отметить, что И. Д. Папанин, несмотря на сомнения и протесты многих «бывалых» полярников, привез с собой на Землю Франца-Иосифа жену, что считалось тогда совершенно невозможным делом. Галина Кирилловна, очень милая и скромная молодая женщина, взяла на себя библиотеку, наводила чистоту и порядок в доме. Она была всегда готова помочь каждому, вносила в нашу компанию домашний уют—уже само ее присутствие заставляло нас всех быть подтянутыми, чистыми, вести себя достойно и разговаривать приличным образом.

На Земле Франца-Иосифа сложился хороший коллектив.

Не мудрено, что, вернувшись, как тогда говорили, на «Большую землю» и отчитавшись в своей работе, почти все мы с удовольствием последовали за И. Д. Папаниным, получившим новое задание — построить крупные по тому времени радиостанцию и геофизическую обсерваторию на месте небольшой полярной станции на мысе Челюскин. Здесь был самый узкий, самый трудный участок для кораблей, уже начавших регулярное плавание по Великому Северному Морскому Пути, роль и значение которого для России понимал и предсказывал еще 200 лет назад М. В. Ломоносов.

Мы вели систематические наблюдения, изучали природу северной части Таймырского полуострова и для этого опять, как и на Земле Франца-Иосифа, уходили в дальние маршруты.

Здесь были уже две женщины — Галина Кирилловна и Анютка, только что ставшая моей женой лаборантка Главной Геофизической Обсерватории, закончившая, впрочем, к тому времени литературный факультет Педагогического института имени Герцена.

В эти годы в совместной работе — и на разгрузке кораблей, и на строительстве домов, и в научных наблюдениях, и походах — сложилась, выросла и окрепла наша с Иваном Дмитриевичем дружба, продолжающаяся вот уже более сорока пяти лет.

А тогда, в 1936 году, я с большой радостью и гордостью узнал, что для И. Д. Папанина моя кандидатура в экспедицию на Северный полюс в качестве астронома и геофизика была очевидной.

Еще меньше сомнений для кого бы то ни было могла вызывать кандидатура Э. Т. Кренкеля. Он имел бóльший, чем каждый из нас, опыт и стаж работы в Арктике. И не просто работы. Это ему принадлежит инициатива применения на полярных станциях радиосвязи на коротких волнах. К 1936 году Кренкель имел уже огромный опыт обеспечения радиосвязи в самых различных условиях — на полярных станциях, на кораблях и даже на дирижаблях.

Если читатель еще незнаком с отличной книжкой Эрнста Теодоровича «RAEM — мои позывные», пусть прочтет ее. Она позволит составить представление об ее авторе лучше, чем любое другое описание.

Петр Петрович Ширшов — гидробиолог и гидролог — также не случайно был приглашен в экспедицию на полюс. Окончив биологический факультет университета, он сразу же отправился в северные моря. «На шхуне «Ломоносов» нас было семь матросов»...— так начиналась шуточная песенка, сочиненная участниками первой для Петра Петровича полярной экспедиции. Теперь ученые-океанологи выходят в океан на отлично оборудованных больших кораблях, специально предназначенных для научных исследований. Тогда же экспедиции проводились на маленьких деревянных судах — чаще всего это были моторно-парусные шхуны водоизмещением в 200—500 тонн, построенные для промысла тюленей. Все участники плавания, естественно, были и матросами тогдашних «кораблей науки».

Зарекомендовав себя отличным специалистом, мужественным и доброжелательным человеком, охотно выполняющим любую нужную работу, П. П. Ширшов был взят О. Ю. Шмидтом в рейс «Сибирякова», впервые прошедшего Северный Морской Путь в одну навигацию. Он, как и Э. Т. Кренкель, принял участие и в рейсе «Челюскина». В ледовом лагере О. Ю. Шмидта Ширшов продолжал вести возможные в тех условиях гидробиологические исследования, а также стал бригадиром «аэродромной бригады», выполнявшей наиболее тяжелую и ответственную работу — подготовку взлетно-посадочной полосы для самолетов, летчики которых, ставшие первыми Героями Советского Союза, вывезли всех обитателей ледового лагеря на «Большую землю».

На дрейфующей станции каждый работал в нескольких областях, но, кроме того, И. Д. Папанин считал необходимым, чтобы жизненно важные для нас действия дублировались. Так, наряду со мной астрономические определения мог выполнять Кренкель, метеорологические наблюдения — Кренкель и Папанин, дублером Кренкеля в радиосвязи был я. Ширшову предстояло освоить специальность врача. Папанин справедливо считал, что биолог подойдет для этого более чем кто-либо другой. И Петр Петрович с полной ответственностью взялся за это дело. Почти год наряду с другими обязанностями по подготовке экспедиции, он работал в клинике, осваивая простейшие медицинские приемы.

Так сложился наш маленький, но способный к самым разнообразным действиям коллектив. Теперь много говорят и пишут о совместимости — чаще всего в связи с уже начавшейся длительной работой малочисленных экипажей космических кораблей. Вероятно, очень трудно жить в одиночестве. Но не легко сохранить спокойствие и доброжелательные отношения и в маленьком, оторванном от общества коллективе. Конечно, и между нами возникали иногда по совершенно незначительным поводам взаимные обиды и претензии. По временам кто-либо из нас, по тем или иным причинам впадал в плохое настроение. Это неизбежно. Было важно, чтобы каждый никогда не терял контроля над собой, не давал возможности маленькому недоразумению перерасти в длительную неприязнь и ссору. Чтобы никто не стремился к уединению, к отходу от товарищей. И здесь мы оказались на высоте. Тут помог и опыт прошлой работы на полярных станциях и чувство огромной ответственности перед всей страной. И это последнее пришло к нам не сразу. Готовясь к экспедиции, мы понимали, что она будет приметным событием в арктических исследованиях, понимали свою ответственность перед советской наукой, перед руководством Главного Управления Северного Морского Пути, перед партией и правительством, выделившими на организацию экспедиции большие средства.

Но лишь попав на полюс, мы в полной мере оцени-

ли, каким центром внимания и предметом заботы буквально всего народа стала наша четверка. Мы поняли, что являемся представителями страны, и на нас обращено внимание всего мира и, в частности мировой науки. Мы вскоре узнали, что за нашим дрейфом следят все советские люди. Думают о нас, тревожатся. Это и трогало и вместе с тем как-то подтягивало. Мы сознавали, что не можем себе позволить ничего, что могло бы уронить нас в глазах советских людей, не можем упустить чего-либо в научных работах.

Много книг и статей было опубликовано в свое время о нашей экспедиции. В этом году выйдут две книги И. Д. Папанина. Недавно вышла книжка Кренкеля. Здесь я приведу лишь несколько страниц своего дневника. Это были дни обычные. Не случилось ничего особенного, разве только что шторм затруднял работу, и в связи с этим было время, чтобы писать побольше.

21/XI, 14 ч.

Сегодня Петя утром кончил гидрологическую станцию. Вчера вечером выкручивали лебедку, добывая пробы ила с глубины втроем: Петя, Эрнст и я. И. Д. сидел дома. У него болело горло. Замечательный был вечер — яркий свет находящегося еще под горизонтом солнца заливал зеленоватым цветом, казалось бы, застывшие в неподвижности ледяные поля. Воздух был совершенно спокоен. Мороз в 35 градусов совсем не чувствовался. Вытащили быстро — 3400 метров за два часа. Когда окончили, мы с Эрнстом залезли на торос — оглядеться. Петя возился с батометром. Яркое пламя поднималось у нашей палатки — испуганные, мы быстро пошли к лагерю. Подходя, заметили черную фигурку, бегающую на фоне пламени. Неужели пожар? Только что, сидя на нартах, мы с Эрнстом размышляли о том, как, в сущности, спокойно здесь жить. Теперь в голове бежали аварийные мысли. Подойдя, успокоились — пламя гасло и все имело нормальный вид. Неугомонный И. Д. выспался за день, вылез из мешка и стал пробовать что-то варить с помощью паяльной лампы — чтобы было скорее. Она-то и дала такое яркое пламя. Из кухни выходило облако пара. Оказалось, варил молочную кашу. Прослушали известия. Я быстро сделал метеонаблюдения и полез в мешок.

Ночью сквозь сон слышал — Петя ушел опускать батометры для измерений на двадцатипятиметровой глубине. Эрнст прилег, попросил И. Д. разбудить его, чтобы пойти помочь Пете. И. Д. не разбудил Эрнста, а сам побежал к Пете — это в отместку за аналогичный обман со стороны Эрнста. Пришел, отдуваясь, около четырех часов — тогда толкнул Эрнста. Тот ворчал. К девяти Петя окончил. Сейчас только я бодрствую. Перед очередными наблюдениями ходил прогуляться. Погода начала портиться. Подул западный ветер. Барометр бежит вниз.

Ходил на восток, вдоль трещины. Рядом бежал Веселый. Невероятно живой пес — вечно прыгает, кувыркается, играет. Он отрастил хорошую шубу и нагел изрядный слой жира, поэтому «плюет» на мороз и перестал проситься на кухню. Когда возвращались назад, ветер сильно жег лицо. Примерно в полукилометре от дома наткнулся на лист фанеры — тот, что с месяц назад унесло со склада, где запасное имущество радиостанции. Притащил его. Потребую с Эрнста премию.

Сегодня у нас праздник — полгода на льду — нам дают концерт — будем слушать в двадцать часов. На концерт отвели час. Приветствий много...

Хорошая телеграмма от «Комсомольской правды». Несколько подзуживают меня очерком Эрнста — действительно, очень хорошо у него получилось в прошлый раз. Должны выступать жены. Сможет ли выступать Анютка? Неужели не свяжутся с Ленинградом? Скоро узнаем.

В палатке холодно. Пишу и мерзну — минус три. Понемногу крепчает ветер. Пускал ветряк — крутился, но не хватало силы, чтобы заряжать аккумуляторы. Остановил. Легкие облака кое-где по небу. Луна убывает. Если погода сегодня не испортится, надо будет завтра или послезавтра начать магнитные наблюдения.

Что-то почувствовал тоску по дому — хочется увидеть Анютку, малыша. Такая тоска выступает на сцену, когда холодно и неуютно.

Завидую Пете — он окончил свою тяжелую работу и сейчас отсыпается, а у меня она впереди — поэтому, наверное, и настроение недостаточно веселое.

Спят орлы боевые — Петя во сне по обыкновению энергично крутится.

На острове Рудольфа все в сборе[1]. Третьего дня прилетел Чухновский. Прилетели с места вынужденной посадки самолеты отряда Бабушкина. Поиски Леваневского продолжаются.

Удивительное дело, сидишь на Северном полюсе и чувствуешь себя дураком: все время кажется — что-то недоделал, что-то не использовал. Надо и наблюдения текущие делать, и как-то подниматься над мелочами, и схватывать основную суть нашей жизни, чтобы уметь ее оценить и передать другим. Это у меня пока не выходит...

«Комсомольская правда» просит дать отчет о сегодняшнем дне — ветер, кажется, позволит это сделать. Я хотел, признаться, дать хороший очерк, но что-то не выходит. Нет «наития» сегодня.

Опять пустил ветряк, но крутится он впустую — тока пока не дает. А впрочем, может быть, контактное кольцо на динамо-машине засорилось.

Заиндевела наша палатка. Потихоньку, незаметно увеличиваясь, вырос слой инея на стенках. Теперь они покрыты сплошной толстой белой корой. Если потеплеет — все это потечет.

Много у меня дела, а работать неохота — распустился. Часто думаю — как Анютка живет, как мальчишка растет. Вот не учится она. Да и какая у нее может быть возможность сейчас учиться — тут малыш, новая и первая в нашей жизни квартира. Дел полно...

22.XI. 12 ч.

Вот и прошел полугодовой юбилей — много приветствий.

Исключительно хорошую передачу устроила для нас редакция «Последних известий». К 20 часам мы пообедали, сидели, разговаривали. Объявили, что передача посвящается Ивану Дмитриевичу, которого выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета. Начал говорить Вс. Вишневский — он читал свой прекрасный биографический очерк об И. Д. Затем выпустили Петрозаводск — выступали доверенные лица участков, выдвинувших И. Д., зачитали ответ И. Д. избирателям. Пустили жен. Хорошо говорила Галина Кирилловна. Уделила внимание избирательной агитации, в общем, держалась хорошо. Говорила Клепа — младшая сестра Галины Кирилловны, которая у Папаниных считается дочкой. Как всегда обстоятельно и хорошо рассказала о своей жизни Наталия Петровна[2]. Исключительно спокойно говорила Надежда Дмитриевна[3]. И, наконец, мне радость. Микрофон переключился на Ленинград —

[1] Остров Рудольфа — наша авиабаза, с которой мы вылетели на полюс. В это время на острове собрались авиаотряды Водопьянова, Чухновского, Бабушкина для поисков Леваневского, который погиб, пытаясь повторить маршруты Чкалова и Громова.

[2] Жена Э. Т. Кренкеля.

[3] Жена П. П. Ширшова.

слышна милая моя Анютка. Нервничала, бедная, говорила, в общем, хорошо, но мало, голос дрожал.

Начался концерт — московский радиокомитет исполнил все песни о полюсе, затем опять включили Ленинград, выступает Утесов, теплое выступление, прекрасный концерт. Наконец опять Москва — «мы с большим удовольствием проводили эту передачу, до свидания, дорогие»,— заканчивает дикторша. Мы все глубоко взволнованы.

Эрнст уже написал ответную телеграмму. Мы несколько минут делимся своими переживаниями, потом мы с Эрнстом направились варить на кухню, он — особый кофейный ликер, я — чай.

Подходят последние известия,— там, между прочим, подробнее рассказано о нашей передаче — телеграмму уже получили, зачитали.

Выкрутили на «солдат-моторе» (ветра настоящего все еще нет, и аккумуляторы разряжены) телеграммы женам и Утесову. Пили чай, пили ликер, разговаривали по-хорошему о наших делах и залегли спать.

Проспали в мешках до 12. Утром Эрнст написал в «Правду» очерк об И. Д.— хорошо получилось. Но, пожалуй, я дал в «Комсомолку» тоже неплохой. В 14 начали выступать товарищи с острова Рудольфа — Яша[1] и другие. Выступали уверенно Бабушкин, Шевелев — оказывается, самолеты еще сидят на месте («За будкой» — как сказал Яша). «Ермак» в 60 милях от Земли Франца-Иосифа. С летчиками пришли на Рудольф письма, читали мне и Эрнсту письма от жен. Письмо Анютки производит какое-то нервное впечатление — «брожу по пустым комнатам большой квартиры» — скучно моей хорошей — некоторые места письма Яша выпустил — рассказал, что Аня им с Витей[2] прислала письмо с фотографиями своих знакомых девушек, предлагает им жен на выбор. Хорошие они ребята. В общем, письмо и выступление Анютки навели на меня некоторую грусть.

Сегодня пасмурно. Потеплело. Ветер окреп и заряжает аккумуляторы. Он с востока — это не совсем приятно: не загнал бы нас на мыс Северо-Восточный Гренландии. Вообще ни к чему подходить к неуютным гренландским берегам.

Пора делать метеонаблюдения — уже 18 часов.

24. XI. 17 часов.

Сегодня опять пасмурно. Вчера облачность прорвалась и удалось определиться — было 83° 28′ и 355° 50′ — унесло сравнительно недалеко.

Сегодня подсчитал вчерашние определения азимута. Оказалось, нас повернуло за несколько суток на 70° — вычислил несколько последних азимутов. Видно, что нас все время разворачивает по часовой стрелке градусов на 13—14 каждые сутки. Пошел и повернул указатель ветра на 70° — до этого он соответствовал установке горизонтального круга теодолита. Петя гонит дистиллированную воду, И. Д. сходил к границе нашего поля на востоке.

Там пока тоже нового торошения нет. Крепкий ветер с севера. Быстро крутится ветряк. Шипят, заряжаясь, аккумуляторы. Петя что-то пишет, изредка заглядывая на кухню к своему перегонному аппарату.

И. Д. начал варить обед. Часто слышны гулкие удары льда. В палатке все толчки слышны лучше, чем на открытом воздухе,— очевидно, она резонирует.

В последние дни мы все более озабочены состоянием льда и нервно отзываемся на всякие толчки.

Мыс Северо-Восточный Гренландии в двухстах километрах от нас. Очевидно, ближайший месяц будет критическим в отношении пути нашей льдины — пойдет ли она к северным берегам Гренландии или направится в Атлантический океан. В последнее время мы сильно смещаемся к западу, нас гонит на Гренландию.

25. XI. 13 часов.

Сильная пурга. Еще в мешке слышал, как ругался Эрнст — не мог коченеющими руками укрепить завязки двери. И. Д. крутился в мешке: «Вот увидишь, как стихнет, такую дверь сделаю». Выполз из мешка в 10 часов, оделся и пошел в обход лагеря. Это мы вчера установили — в любую погоду делать обход по внешней границе лагеря. Эрнст разогревал на кухне завтрак: «Ты куда? Я недавно ходил». «Когда?» «После срока метеонаблюдений». «Ну тогда сейчас как раз пора». «Ну пойди, пройдись». Выхожу.

Стремительный снежный поток, должно быть, метров 14. И снегопад и поземка. Пошел против ветра на север. Скоро попалась первая база — все в порядке. Иду на вторую — есть и она. Теперь по ветру на третью, мимо своей «термитной кучи» — как окрестили ледяную хижину для магнитного теодолита. Хижина в порядке. Показалась мачта — согнувшись под тяжестью антенны, дрожит от ветра алюминиевая трубка. На сером фоне метели, в лучах фонаря виднеются вибрирующие оттяжки. Иду дальше. Вот и третья база. Теперь обратно — по направлению, где должен быть дом. Дома нет. Слева выступают торосы. Ошибся. Круто вправо и вниз — в вихревую трубу возле палатки. «Скорее, Женя,— доносится из жилья, пока я отряхиваюсь на кухне.— Стынет». Облепленную снегом рубашку оставляю на кухне, чтобы не таяло На столе сковородка, на ней немного каши с мясным порошком — моя порция. «Мы тут ждали, пока придешь — не начинали интересный рассказ». Эрнст рассказывает, как они с И. Д. плутали утром, возвращаясь с трещины:

— Я поставил батарею на зарядку, пустил ветряк, он, конечно, сразу сложился,— светить не хочет[1]. Ну ладно, решили обойтись без маяка — пошли. Идем эдак культурно, один фонарик жжем, другой — погасили, бережем. Топаем рядышком. Вот и трещина, но тут ничего особенного нет. И шума и треска нисколько не слышно.

— Небольшой вал молодого льда зашел на наше поле. И от нашего большие куски отломились и края пригнуты.— И. Д., сидя наполовину в мешке, показывает руками, как пригнулись края нашего поля.

— Ну да, пригнуло, но дыбом лед не стоит.

— Трехметровый лед не торчит,— соглашается И. Д.— Так это и летом было — под напором соседних льдин прогибались края нашего поля.

— Да, в общем, ничего особенного. У трещины мы походили — вперед и назад — и решили вернуться. Поискали след — разумеется, пропал. Покрутили головами — там палатка? Там. Ну и пошли. Дмитрич сразу взял вправо, а я держусь левее. Скоро мы разошлись метров на пятьдесят. Темень, ни черта не видно, а прошли уже изрядно. Сошлись. Решили вернуться к трещине и опять от печки танцевать. Тут Дмитрич на какой-то торос наткнулся и стал на нем снег разгребать — для опознания.

— А я помню — тут был один такой, похожий — возле него еще чье-то кладбище[2] было.

— Ну и как? Нашел? — все заливаются смехом.

— Нет, не то.

---

[1] Я. С. Либин — начальник авиабазы на острове Рудольфа.

[2] В. С. Сторожко — инженер авиабазы.

[1] При очень сильном ветре автоматическое устройство складывало крылья и хвост ветряка и ставило его таким образом, чтобы не сломало ветром. На мачте ветряка была укреплена лампочка, которая горела, когда машина давала ток.

[2] Так мы называли места, отведенные для туалетных надобностей.

— Крутились, крутились,— завершает рассказ Эрнст,— а потом погасили фонарик, попривыкли к темноте и разглядели невдалеке палатку.

Обсудили меры предосторожности: на случай, если кто не явится домой вовремя, начнет блуждать,— решили приготовить факелы, а если не поможет, то и ракету большую зажечь. И. Д. снова завертывается в мешок. Мы советуем ему поспать сейчас, чтобы не портить ночь. «Одни только хорошие сутки и бывают — сразу после гидрологической станции, а потом уже приходится думать о следующей»,— говорит Петя.

У него больше всего неприятной работы с мокрыми, обледеневающими гидрологическими приборами. А сейчас дрейф ускорился и все наблюдения приходится делать чаще. Петя ложится. Просит разбудить его через полтора часа. Засыпает и Эрнст. Сейчас моя очередь дежурить.. Подходит срок наблюдений. Выхожу в тамбур. Сюда залез Веселый — сидит скромно в уголке. Ну шут с тобой — не выгоняю. Пока вожусь с наружной дверью, роняю дощечку для записи. Показания приборов запоминаю. Вернувшись, спешно шифрую метеотелеграмму — пока отряхивался, ушло много времени. Тороплюсь включать приемник. Остров Рудольфа уже вылез в эфир. «У меня искры, пурга, слышу плохо»,— передает он. Включаю передатчик и даю метео. Он не слышит. Снова передаю. Теперь он поймал, но не сначала Повторяю. На этот раз все в порядке...

Еще раз обошел лагерь. Все в порядке. Буду будить Петю. .

Вот и все, что случилось за четыре дня ноября 1937 года.....

В последние годы мне не раз доводилось бывать в Центральной Арктике. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, береговые и дрейфующие полярные станции, высокоширотные экспедиции вошли в состав гидрометеорологической службы страны, и знать их работу было моей прямой обязанностью.

Дрейфующие станции стали нормальным, систематически применяемым средством изучения Ледовитого океана и непременным элементом службы погоды СССР и всего мира. Гидрометеорологическая служба содержит постоянно две дрейфующие станции в Северном Ледовитом океане. Личный состав станций СП (Северный полюс) меняется ежегодно, а сами станции — домики, оборудование — дрейфуют в среднем три года. Как только станция в своем дрейфе окажется на границе Ледовитого и Атлантического океанов — ее снимают, вывозят все ценное имущество и открывают новую станцию. В этом году начинает свою работу станция СП-24.

В 1971 году я побывал на станции СП-19. Она была основана на ледяном острове. Такие «острова» изредка встречаются в Ледовитом океане. Это большие плоские айсберги, оторвавшиеся от сползающих в море ледников северной части Американского континента, примыкающих к нему островов и Гренландии. Их площадь составляет 10—20 кв. км, а толщина — несколько десятков метров. Они гораздо более крепкие, чем окружающие ледяные поля, не боятся никакого торошения. Но одни раз ледяной остров, и именно тот, на котором расположилась СП-19, раскололся. Он стал на мель в море Лаптевых. Напиравший ледяной покров, ветер и течение сдвинули его с мели, но при этом отломился значительный кусок. И тогдашние обитатели СП-19, совершенно уверенные в несокрушимой прочности острова, пережили немало неприятных часов.

В апреле 1971 года СП-19 была очень близка к полюсу — на расстоянии не более десяти километров. Мы прилетели туда группой в составе — А. В. Сидоренко (бывший министр геологии СССР, в настоящее время вице-президент Академии наук СССР), президент Академии наук Кубы — Антонио Нуньес Хименес со своим помощником, зам. директора Арктического и Антарктического института А. С. Сердюков и я.

Самолет ИЛ-14 сел на отлично укатанную твердую и ровную взлетно-посадочную полосу. У самой полосы расположился «аэропорт» СП-19 — несколько черных полусферных теплых палаток, в которых отдыхали летчики и находилась приводная радиостанция.

Примерно в километре от взлетно-посадочной полосы был виден поселок станции. Каждый домик, собранный из стандартных, покрытых теплоизоляционным материалом, деревянных щитов, состоял из тамбура и жилой комнаты на двух или в крайнем случае на четырех человек. Домик имел полозья и трактор, который также был в лагере, всегда мог его передвинуть. Как тут не вспомнить, в каких условиях жили мы на льдине?..

Мы увидели радиолокатор для прослеживания траектории полетов радиозондов, антенну ионосферной станции и другое специальное научное оборудование. Все имущество станции составляло около двухсот тонн, то есть примерно по десять тонн на человека.

На станции работало около двадцати молодых людей, некоторые из них не один раз дрейфовали через Ледовитый океан. В марте — апреле как раз производилась замена личного состава и пополнение запасов станции. Новая смена добивалась от руководства Арктического и Антарктического института решения сохранить станцию в дрейфе как можно дольше, поскольку были некоторые признаки того, что льдина может попасть в замкнутое кольцо дрейфа.

Существование этого замкнутого кольца выяснилось из анализа путей десятков советских дрейфующих станций. Если мысленно разделить Ледовитый океан по линии Берингов пролив — Северный полюс — Мыс Северо-Восточный Гренландии, то поток льда по Евро-Азиатскую сторону от этой линии направлен с востока на запад и выходит в Атлантический океан между Шпицбергеном и Гренландией.

По американскую сторону от указанной линии лед, пройдя по направлению от Аляски к полюсу, затем поворачивает по часовой стрелке и возвращается вдоль берегов Гренландии и Канады в исходное положение. Путь по всему кольцу занимает несколько лет.

В результате работы дрейфующих станций и ежегодно снаряжаемых высокоширотных экспедиций советские ученые знают Северный Ледовитый океан лучше, чем многие другие районы Мирового океана.

Хотя жизнь на дрейфующих станциях стала гораздо более комфортабельной, природные условия остались теми же. Работа на дрейфующем льду требует мужества, отличного знания своего дела и умения создать и поддерживать дружный коллектив. Отрадно сознавать, что сейчас уже многие сотни советских полярников прошли в дрейфе через Ледовитый океан. Они составляли основное ядро формирования Антарктических экспедиций.

Их трудами передний край всего фронта науки об окружающем нас мире прошел через полярные области земли, замкнулся на нашей планете и вышел в открытый простор космоса.

восемь утра я доложил командованию, что вручить ультиматум не удалось. Генерал Родимцев сказал, что в память об этой ночи я могу оставить себе пакет с ультиматумом. Я был представлен к ордену Отечественной войны I степени.

Комментируя воспоминания мужественного парламентера, генерал-полковник Родимцев просил отметить, что окончательному взятию Дрездена, которое произошло в тот же день, 8 мая, предшествовал артобстрел вражеских позиций (чтобы быстрее и с меньшими людскими потерями овладеть городом), но стрельба велась только «по наблюдаемым целям».

Словом, хотя ультиматум и не был принят фашистами, которые, мало того, посмели обстрелять парламентеров, наше командование продолжало считать своим долгом заботу о сохранении «целостности города Дрездена, его исторических ценностей и памятников старины».

ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ ДУЭТ



Накануне Нового года мне позвонил народный артист СССР Иван Семенович Козловский с предложением прослушать открытого им новоявленного вокалиста Бориса Шаляпина. Козловский утверждал, что известный художник Борис Шаляпин, только что вновь приехавший в нашу страну, чтобы повидаться с сестрой Ириной Федоровной и московскими друзьями, в какой-то мере унаследовал... голос отца.

От слов перешли к делу. Вскоре в Дом литераторов прибыли кинохроникеры Центральной студии документальных фильмов во главе с оператором А. Хавчиным, а Козловский и Шаляпин вышли на сцену.

На снимке: Б. Ф. Шаляпин (слева) и И. С. Козловский.

В этом необычайном дуэте певца и художника-живописца все было удивительно: Иван Семенович — уникальный тенор, до сих пор покоряющий слушателей красотой своего голоса, а Борис Федорович пел, обнаруживая яркую выразительность и тембровые особенности, свойственные в свое время его гениальному отцу...

Услышать этот дуэт, а также сольное исполнение Борисом Шаляпиным песни про соловушку, особенно любимой Федором Шаляпиным, вы можете, посмотрев киножурнал «Новости дня» № 4 за нынешний год.

Нельзя не сказать при этом слов благодарности Ивану Семеновичу Козловскому, неугомонному в своих поисках новых форм аккомпанемента, нового репертуара и новых партнеров. В свое время он привлек для вокального дуэта японскую скрипачку Сака Сато, у которой оказалось превосходное колоратурное сопрано, а недавно мы слушали Ивана Семеновича в своеобразном «дуэте» с поэтессой Беллой Ахмадулиной. Это было органическое сочетание поэтической музыки и музыкальной поэзии. На каждый романс, исполненный Козловским, следовали ответные стихи, специально написанные Ахмадулиной для этой — столь неожиданной! — программы.

Борис
ФИЛИППОВ

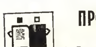
Валентин
СКОРЯТИН



ЧЕМПИОНКА, ДОЧЬ ЧЕМПИОНА

Фото
В. ГАНЧУКА.

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

